

Беренда
Мушкова

ИЗБРАННОЕ



ВЕРОНИКА ТУШНОВА

Избранное

СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ



Москва
«Художественная литература»
1988

ББК 84Р7

Т81

Составление
и научная подготовка текста
Н. РОЗИНСКОЙ

Вступительная статья
А. ТУРКОВА

Оформление художника
Т. САМИГУЛИНА

Т $\frac{4702010200-292}{028(01)-88}$ 74-88

ISBN 5-280-00195-3

© Состав. Вступительная статья.
Оформление. Издательство «Ху-
дожественная литература»,
1988 г.

ЕЕ ЗВЕЗДА

Среди поздних стихов Вероники Тушновой есть одно о том, как ей долго не удавалось заметить маленькую звездочку — сначала «за блеском неба и воды» на закате, потом за жаркими искрами костра, и только когда закат догорел и огонь погас, стало видно:

...из дальней дали
мне в сердце смотрит
вечная звезда.

(«Звезда»)

Не думаю, чтобы сама написавшая эти строки сравнивала себя с далеким светилом, награжденным ею эпитетом «вечная», но теперь, размышляя о судьбе поэтессы, стихи эти вспоминаешь не даром.

В. Тушнова пришла в поэзию вместе с поколением фронтовиков (она и сама была врачом в госпитале), но, в отличие от большинства из них, заявила о себе сравнительно поздно (во время дебюта в печати ей было уже двадцать девять лет) и как-то негромко. Словечко «камерно» легко перепархивало на обсуждениях ее стихов из уст в уста.

Совершенно полноправное в сфере музыки, оно в литературных дебатах, особенно тогдашних, приобретало явственный оттенок серьезного укора, что вполне соответствовало догматической прямолинейности оценок, снова поднимавшей голову после оторопи, постигшей ее в годы Великой Отечественной войны.

В том самом итоговом докладе о советской литературе 1944—1945 годов, где Николай Тихонов назвал среди имен

молодого поэтического пополнения и В. Тушнову, неодобрительно упоминалось о «странной (!) линии грусти», чей «легкий налет лежит на стихах фронтовиков». «Я не призываю к лихой резвости над могилами друзей, — спешил оговориться докладчик, — но я против облака печали, закрывающего нам путь».

Между тем самое лучшее в ранних стихах Тушновой — как раз то, что было исторгнуто из глубоко потрясенного войной сердца женщины и матери.

Какую «камерность» можно было усмотреть в «Ночной тревоге», этой хватающей за сердце картине будничных в ту пору лихорадочных сборов в бомбоубежище?

И снова поиски ключа,
и дверь с задвижкой тугою,
и снова тельце у плеча,
обмякшее и дорогое.

Как на́зло, лестница крута, —
скользят по сбитым плитам ноги;
и вот навстречу, на пороге —
бормочущая темнота.

Или в стихотворении «Птица»?

...И неприютен голос птичий
среди обугленных пустынь.

Он бьется, жалобный и тонкий,
о синеву речного льда,
как будто мать зовет ребенка,
потерянного навсегда.

Кружит он в скованном просторе,
звения немыслимой тоской, —
как будто человечье горе
осталось плакать над рекой.

Если «Первая книга» (1945) еще была встречена доброжелательной рецензией Н. Калитина, то вскоре пресловутая «камерность» обратила на поэтессу взоры лихих кампанейских проработчиков, бойко ставивших ей в вину «перепевы надуманных переживаний в духе салонной лирики Ахматовой».

И то, что первый сборник отделяет от следующего почти десятилетие, разумеется, не случайно. Новая книга рождалась трудно. Растерянный автор искренно стремился перестроиться.

В 1948 году состоялось, как гласила короткая газетная заметка, обсуждение «отрывков из новой книги, посвященной труженикам пятилетки», где выступавшие отметили серьезность творческой работы, не лишенной, однако, «некоторого пристрастия к «красивости», пышному орнаменту, риторике». Но прошло еще несколько лет, прежде чем «Пути-дороги» увидели свет — в 1954 году.

Книга была озаглавлена так же, как один из ее разделов, где преобладали стихи, навеянные поездками, дорожными встречами, знакомством с новыми краями (такой же характер носил и раздел «Азербайджанская весна»). Стараясь избежать прежних упреков, поэтесса демонстрировала «географическую широту» своих интересов, слагала, по позднейшему выражению одного писавшего о ней критика, «стихи-очерки о людях, встреченных в жизни». Их было немало и в разделе «Много друзей» — «Инженер», «Жена прораба», «Аннушка приехала домой» и др.

Ныне название «Пути-дороги» выглядит скорее не как обозначение реальных путешествий автора, а как напоминание о труднейшем этапе творческого пути В. Тушновой, сбившейся было, если не сбитой, со свойственной ей стези «лирика по самой строчечной сути». Даже чрезвычайно одобрительно встреченная критикой поэма «Дорога на Клухор» (1952) нередко носит отпечаток чуждой поэтессе риторической экзальтации. И когда читаешь строки одного из стихотворений тех лет, про почтамы, где «в белых треугольниках томится невостробованная любовь» («Письма»), так и кажется, что оно о самой Тушновой с ее — «невостребованной» литературной ситуацией конца 40-х и начала 50-х годов — лирикой любви, человечности, грусти, с теми «благородством и широтой чувств», которые мимолетно, но зорко отметил еще в 1947 году критик А. Макаров в ее стихах о матери.

Большинство напечатанного в «Путях-дорогах», пожалуй, еще не могло опровергнуть мнения А. Тарасенкова, который, расценивая «Дорогу на Клухор» как удачу, одновременно отзывался об авторе, как дотоле «не приобретшем... своего отчетливого творческого лица, не нашедшем своего голоса». Еще можно было просто улыбнуться над тем, что в одном стихотворении поэтесса, видимо, незаметно для себя, буквально повторила слова знаменитого романа («искры гаснут на лету» — в «Разлуке»), а в другом подпала под власть энергичной, напористой интонации Николая Тихонова («Мы праздник встречали в дороге. Мы песни хорошие пели, мы пили вино из стаканов и рюмок плохого стекла...»). Порой она «пригубливала», действительно, так сказать, «из рюмок пло-

хого стекла», прибегая к поэтическим штампам, бывшим тогда в широком употреблении: «Он в бою сегодня, как вчера... Здесь каждый дело знал свое и место, приказы были коротки и четки. В штаб армии (здесь — управление треста) ежеминутно поступали сводки...»

И лишь на последних двадцати с немногим страницах сборника, в разделе «Стихи о счастье» голос поэтессы становился свободным и естественным:

Я давно не писала стихов о весне.
Не писала стихов о тебе, о себе...
(«Счастье»)

Согласимся: это камерные стихи. Но — в старом, добром смысле слова: то, что не предназначено для хора или большого оркестра.

Перед читателем, дотоле, быть может, небрежно листавшим книгу, не слишком отличавшуюся от многих других, вдруг возникало истинное лицо пишущей — любящей, томящейся, страдающей — временами почти портретно-точное и единственное в своей живой конкретности («...ресницы, слепленные вьюгой, волос намокшее крыло, прозрачное свечение кожи, лица изменчивый овал»), но одновременно полное отблесков тех же чувств, которыми живет и множество других женщин со своими жестокими «вьюгами», счастливыми и горькими минутами, с тревожным ощущением неумолимого бега времени и с упрямой, пусть и не раз обманывавшей, верой в счастье:

...Я перестану ждать тебя,
а ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга...
(«Не отрываются любя...»)

Эта глубоко интимная и в то же время способная отзываться в тысячах душ грустью, надеждой, болью нота еще больше окрепла в книге «Память сердца» (1958), где главная тема поэтессы вышла уже на первый план, решительно потеснив все остальное:

...любовь на свете есть!
Единственная — в счастье и в печали,
в болезни и здравии — одна,
такая же в конце, как и в начале,
которой даже старость не страшна.

Не на песке построенное зданье,
не выдумка досужая, она
пожизненное первое свиданье,
безветрия и гроз чередованье!
Сто тысяч раз встающая волна!

(«Твой враг»)

И хотя в этом сборнике вроде бы нет прямых откликов на большие общественные перемены, происшедшие тогда в стране, но в самой «раскованности» автора, в ее открытости навстречу читателю, уверенности в близости ему своих переживаний ощутимо веяние времени, подсказавшего незадолго перед тем одному из старших поэтов характерные строки:

Что такое случилось со мною?
Говорю я с тобою одною,
А слова мои почему-то
Повторяются за стеною,
И звучат они в ту же минуту
В ближних рощах и дальних пущах,
В близлежащих людских жилищах
И на всяческих пепелищах,
И повсюду среди живущих.
...Удивительно мощное эхо.
Очевидно, такая эпоха!

(Леонид Мартынов)

В ту пору «второе дыхание», как назвала Тушнова свой сборник 1961 года, пришло ко многим и во множестве обличий. И подзаголовок «Новая книга» не просто свидетельствовал о том, что здесь нет стихов из прежних сборников, как это раньше бывало у поэтессы, а говорил о явственном ощущении автором наступившей и утвердившейся в ее творчестве перемены.

Непосредственно адресованные уезжавшей сербской поэтессе Десанке Максимович слова: «...я твое родное сердце от себя не отпущу», — теперь, в перспективе всего дальнейшего творчества Тушновой, кажутся обращенными к читателю, которого она наконец-то почувствовала своим, близким и поняла, что его можно «взять» только безоглядной искренностью и правдой, а не стихами, где, как на одном мимолетно упомянутом в книге сборище, «звучали слова и молчали мысли».

Когда-то старшая «коллега» Тушновой, Аделина Адалис, считала ее слабостью именно «отсутствие поэтической мысли». Пожалуй, эта ученица Брюсова с его подчеркнутым рационализмом была несправедлива к молодой дебютантке, чья поэтическая мысль развивалась по-своему — не броско, не отлива-

ясь в чеканные формулы, а стремясь претвориться во всем образном строе стихов.

И все же в позднем творчестве Тушновой мысль приобретает бóльшую осязаемость и рельефность: за ней — весомость пережитого, испытанного, передуманного.

Некогда, оглядываясь на детские годы, поэтесса восклицала: «Я ли это — в белом платье, с белым голубем в руках?» И вряд ли она, тогдашняя, предугадывала себя такую, какую предстала во «Втором дыхании»:

...брожу по лесу,
греюсь под лучами
и думаю...
И крепко сплю ночами,
и не спешу приблизить милый срок
ночных бессонниц
и счастливых строк.

Стихи эти начинаются словами «Жизнь обмелела...», но, пожалуй, такого половодья поэтического чувства, такой прозрачной ясности и грустной умудренности, какие выразились в строках о «милом сроке», Тушнова еще не достигала.

Недаром именно в эту пору она работает над «Поэмой памяти», посвященной матери и ее «продолжению» — своей собственной дочери, поэмой, полной напряженных раздумий о несхожих судьбах разных поколений и о нависшей над миром новой небывалой военной угрозе:

Чудовищные тихие предметы...
По-разному их люди называют.
Конечно, как-то проще слово «бомба»,
реалистичней и привычней слуху,
но подлинное им название —
смерть.

...Современно практична ее оболочка.
Нет, себя не узнала бы в этой, стальной,
та, из книжек старинных, кустарь-одиночка,
в маскарадном наряде, с косой за спиной.

Поэма не окончена, но стоит сравнить ее не всегда отшлифованные строки с «Дорогой на Клухор», чтобы понять, насколько она масштабней по мысли, по трезвости оценок, по щемлящей тревоге за дочь и всю новую молодежь:

Веселья, подарков и радостей много,
а счастьем могла бы я с ней поделиться...

...Горжусь военной юностью своею,
я так жила, как надлежало мне.
Им — детям — проще будет и труднее.
Жизнь даст им все.
И требует вдвойне.

«Раскрепощение» любовной темы, произошедшее в середине 50-х годов, порою оборачивалось в творчестве некоторых авторов бесконечным «тиражированием» однообразных ситуаций и переживаний, лишенных подлинного эмоционального накала.

Тушновой «повезло»: чувство, подсказавшее ей стихи последних лет жизни — от «Второго дыхания» до «Ста часов счастья» (1965), — было по всем статьям трудным и драматичным. «...Благословляю бурю, с которой никак не справлюсь», — сказано в одном стихотворении поэтессы. И в этой буре наконец-то раскрылось все лучшее в ее существе. Недаром, уже через несколько лет после смерти Тушновой, перечитывавшие ее последние стихи вспоминали слова знаменитого хирурга о человеческом сердце, оказавшемся на его ладони: «Это, знаете ли, — вот когда оно в руке трепещет, — это я ни с чем в жизни не могу сравнить...» Да и еще раньше в надгробном слове Александра Яшина говорилось о «благородном сердце, обнаженном до предела».

Здесь много чего сошлось. Уже во «Втором дыхании» сказано:

Стоит между нами
не море большое —
горькое горе,
сердце чужое.

(«Хмурую землю...»)

Но дело не в заурядном — хотя в своей реальной конкретности всякий раз болезненным и даже драматическом — «любловном треугольнике», чьи очертания по большей части еле-еле, целомудренно проступают в стихах Тушновой.

В них куда сильнее звучит далеко не узко-личный мотив обделенности счастьем, роднящий многих и многих, особенно принадлежавших к тому выбитому войной поколению:

Ни скрипа, ни шороха в доме пустом,
он весь потемнел и намок,
ступени завалены палым листом,
висит заржавелый замок...

А гуси летят в темноте ледяной,
тревожно и хрипло трубя...
Какое несчастье
случилось со мной —
я жизнь прожила
без тебя.

(«Как часто лежу я без сна в темноте...»)

Тут и беспредельная сопричастность трудной судьбе, бореньям и тяготам возлюбленного, в котором легко угадывается прямой до отчаянности характер правдолюбца, испытывавшего многие удары судьбы. И горестная невозможность полностью разделить эту ношу, облегчить ее — и по стечению житейских обстоятельств, и по непростому характеру своего избранника.

Во «Втором дыхании» есть полное преклонения перед бессмертием любви на Земле стихотворение «Двое на мосту» — о словно бы «несменяемой» во все времена паре:

Они стоят
такие юные,
такие вечные
стоят.

В «Ста часах счастья» такого слитного силуэта нет и в помине. Постоянная борьба «центробежных» и «центростремительных» сил то кидает героев друг к другу, то разводит безнадежно далеко, одновременно до предела обостряя взаимное тяготение, тоску по всему, что связано с любимым:

Осчастливь меня однажды,
позови с собою в рай,
исцели меня от жажды,
подышать немного дай!
Он ведь не за облаками,
не за тридцать земель, —
там снежок висит клоками,
спит апрельская метель.
Там синее ельник мелкий,
на стволах ржавеет мох,
перепархивает белка,
будто розовый дымок.

(«Осчастливь меня однажды...»)

Любовь к одному, единственному, сливается здесь с любовью к земле, на которой он живет и заботами которой болеет, любовью к «сгорбленному, сивому» ельнику, спящему

«в сугробах по грудь», к «тальникам вдоль размытого лога», к колодезным журавлям, которые «скрипят таинственно и нежно», и к самому обыденному быту:

Я просыпаюсь рано,
слушаю звуки дома:
дрова перед печкой брошены,
брякнул дверной замок,
одна за другой
картошины
падают в чугунок.

(«Звуки дома»)

Действительно, и природа в стихах этого тонкого лирика, «не раскрашенная, не украшенная — зримая и милая», как писала поэтесса Вера Звягинцева, и все наше «ежедневье» увиденны благодарными за свои «сто часов» глазами, готовыми обласкать даже неказистый самолетик, тарахтящий «над туманной двухверстной лесов и речек» («железный смешной кузнечик, серо-зеленый, десятиместный»).

И вряд ли случайно, как это было замечено в одной из статей, в последних стихах Тушновой «речь близится к народной. И говор, и причет, и заклятие, и песня...» Характерно, что она и сама писала: «Возвращаюсь, возвращаюсь под родимый кров!»

Стихи эти, созданные, по выражению только что процитированного поэта-рецензента Ирины Снеговой, «в крайнем страдании и острейшем счастье», были полны ощущением новых, открывающихся возможностей:

А может быть, я только что родилась,
как бабочка, что куколкой была?
Еще не высохли, не распрямились
два беспощадно скомканных крыла?
...Вдруг полечу еще
и засверкаю,
и на меня порадуешься ты?

(«Наверно, это попросту усталость...»)

Жизнь поэтессы, едва перешагнувшей порог пятидесятилетия, оборвалась в самый год появления «Ста часов счастья», но, как показали первые же взволнованные отклики в печати, полет, который она предугадывала, состоялся.

О том, как явственно обозначилась на поэтическом небе звезда Вероники Тушновой, хорошо сказала в посвященном ей стихотворении Юлия Друнина:

...Да, ты ушла.
Со смерти взятки гладки.
Звучат иных поэтов голоса.
Иные голосистей. Правда это.
Но только утверждаю я одно:
И самому горластому поэту
Твой голос заглушить не суждено —
Твой голос — тихий, как сердцебиенье.
В нем чувствуется школа поколенья
Науку скромности прошедших на войне —
Тех, что свою «карьеру» начинали
В сырой землянке — не в концертном зале
И не в огне реклам — в другом огне...

А. Турков

СТИХОТВОРЕНИЯ

Первая книга
1915

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

ХИРУРГ

Н. Л. Чистякову

Порой он был ворчливым оттого,
что полшага до старости осталось.
Что, верно, часто мучила его
нелегкая военная усталость.

Но молодой и беспокойный жар
его хранил от мыслей одиноких —
он столько жизней бережно держал
в своих ладонях, умных и широких.

И не один, на белый стол ложась,
когда терпеть и покоряться надо,
узнал почти божественную власть
спокойных рук и греющего взгляда.

Вдыхал эфир, слабел и, наконец,
спеша в лицо неясное вглядеться,
припоминал, что, кажется, отец
смотрел вот так когда-то в раннем детстве.

А тот и в самом деле был отцом
и не однажды с жадностью бессонной
искал и ждал похожего лицом
в молочном свете операционной.

Своей тоски ничем не выдал он,
никто не знает, как случилось это, —
в какое утро был он извещен
о смерти сына под Одессой где-то...

Не в то ли утро, с ветром и пургой,
когда, немного бледный и усталый,
он паренька с раздробленной ногой
назвал сынком, совсем не по уставу.

МАТЬ

Она совсем немного опоздала,
спеша с вокзала с пестрым узелком...
Еще в распахнутые окна зала
виднелось знамя с золотым древком,
еще на лестнице лежала хвоя,
и звук литавр, казалось, не погас...

Она прошла с дрожащей головою,
в глухом платке, надвинутом до глаз.
Она прошла походкою незрячей,
водя по стенам сморщенной рукой.
И было страшно, что она не плачет,
что взгляд такой горячий и сухой.

Еще при входе где-то, у калитки,
узнала, верно, обо всем она.
Ей отдали нехитрые пожитки
и славные сыновьи ордена.

Потом старуха поднялась в палату, —
мне до сих пор слышны ее шаги, —
и молчаливо раздала солдатам
домашние ржаные пироги.

МУЗЫКА

С утра в конторе шелкала на счетах,
в очках, платком замотана до глаз.
И было в ней от хмурой птицы что-то,
и что-то в ней отпугивало нас.

Мы очень мало знали друг о друге.
Откуда в лазарете эта тень?
Тревожной сводкой начинался день,
росли морозы, подступали вьюги.

Бывало, что усталость верх брала
и согреваться становилось нечем.
Но я ведь не об этом начала,
я начала о женщине...

Тот вечер
Был тише и угрюмее других.
Почти стемнело. В коридоре где-то
стеклянный звук разбился и затих.
И показался на мгновение светом.

Рояль отвык. В углу закоченев,
он весь скрипел и охал от натуги,
но беспощадно старческие руки
будили в нем отчаянье и гнев.

И словно хрустнул, расколовшись, лед,
и мраку нет на свете больше места —
один порыв, один прямой полет,
все на пути сжигающее presto.

В очках, платком замотана до глаз,
как будто бы с охрипшей вьюгой споря,
она до ночи согревала нас
в продрогшем лазаретном коридоре.

...И, робко взяв пьянистку за плечо,
не отводя от белых клавиш взгляда,
старик казах проговорил: «Еще».
Потом подумал и прибавил: «Надо».

КУКЛА

Много нынче в памяти потухло,
а живет безделица, пустяк:
девочкой потерянная кукла
на железных скрещенных путях.

Над платформой пар от паровозов
низко плыл, в равнину уходя...
Теплый дождь шушукался в березах,
но никто не замечал дождя.

Эшелоны шли тогда к востоку,
молча шли, без света и воды,
полные внезапной и жестокой,
горькой человеческой беды.

Девочка кричала и просила
и рвалась из материнских рук,—
показалась ей такой красивой
и желанной эта кукла вдруг.

Но никто не подал ей игрушки,
и толпа, к посадке торопясь,
куклу затоптала у теплушки
в жидкую струящуюся грязь.

Маленькая смерти не поверит,
и разлуки не поймет она...
Так хоть этой крохотной потерей
дотянулась до нее война.

Некуда от странной мысли деться:
это не игрушка, не пустяк,—
это, может быть, обломок детства
на железных скрещенных путях.

* * *

Я знаю — я клялась тогда,
что буду до конца верна,
как ни тянулись бы года,
как долго бы ни шла война.

Что все — с тобою пополам,
что ты один мне только люб,
что я другому не отдам
ни жарких слов, ни верных губ.

С повязкой влажной и тугой
в жару метался тот, другой.
И я, дежурная сестра,
над ним сидела до утра...

Он руку женскую к груди
тоскливо прижимал в бреду
и все просил: «Не уходи».
И я сказала: «Не уйду».

А после, на пороге дня,
губами холоднее льда,
спросил он: «Любишь ли меня?»
И я ему сказала: «Да».

Я поклялась тебе тогда, —
но я иначе не могла...
Обоим я сказала «да»
и никому не солгала.

* * *

Мы ждали ее в понедельник, и в среду,
и утром, и в полдень, и после обеда.
Мы ждали до вечера, дотемна,
мы в окна смотрели — опять не она.

На улице ветер пахучий, крылатый...
Пушок тополиный влетает в палаты...
Вхожу, а в палате уныло, темно,
на столике блюдец окурков полно.
И голос глухой заклиняет меня:
«Уйдите, сестрица, не надо огня».

А мы-то, а мы-то не спали ночами
и с ложечки чаем поили вначале,
и старый хирург, приходя, его сам,
как мальчика, гладил по волосам...

Мы так добивались веселого взгляда...
А нынче молчит он, и света не надо...
А окна раскрыты, и, пухом пыля,
за окнами плещутся тополя,
и ветер сочится густой темнотой.
...Недоброе сердце у девушки той.

ТАКАЯ ЖЕ, КАК ОНА

Дождь стучит по железу крыши,
и, хотя мы с тобой вдвоем,
говоришь ты как можно тише
о недавнем пути своем.

Об изрытой сырой полянке,
где ты принял неравный бой,
и о том, как в сожженном танке
был спасен боевой судьбой.

Как ты, кожи сдирая клочья,
тяжкий люк приоткрыл потом,
запах гари и холод ночи
опаленным глотая ртом.

Говоришь, а глаза потухли,
будто жизни совсем не рад...
В коридоре шаркают туфли,
костыли в тишине гремят.

И я знаю, я знаю, знаю,
что не рана твоя болит,
что больнее, чем рана злая,
слово горькое — инвалид.

И другое я знаю тоже:
как, ладони прижав ко лбу,
ты над карточкой непохожей
по ночам пытаешь судьбу.

Не пытай, не грусти, не надо!
Верь, подруга тебе верна,
как я встрече была бы рада,
я — такая же, как она.

Как тосклив одинокий вечер,
как дорога моя темна,
как ждала бы я этой встречи,
я — такая же, как она...

САЛЮТ

Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте
на стуле извещение лежит.

Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в стекла дождем косым...
По-взрослому нахмутив круглый лобик,
притих ее четырехлетний сын.

Потом стемнело. И внезапно, круто
ракетами врезаясь в вышину,
волна артиллерийского салюта
тяжелую качнула тишину.

Мне показалось, будет очень трудно
сквозь эту боль и слезы видеть ей
цветенье желтых, красных, изумрудных
над городом ликующих огней.

Но только я хотела синей шторой
закрыть огни и море светлых крыш,
мне женщина промолвила с укором:
«Зачем? Пускай любитесь малыш».

И, помолчав, добавила устало,
почти уйдя в густеющую тьму:
«...Мне это все еще дороже стало —
ведь это будто памятник ему».

ВСТРЕЧА

С поля наплывает горечь донника —
запах лета, жаркий и сухой.
На закате охает гармоника
над стеклянно-розовой Окой.

Пыльным въездом проплелись подводы,
разошелся по домам народ,
от конторки, баламутя воду,
отвалил на Горький пароход.

И тогда не тихо и не скоро,
будто встрече будущей не рад,
поднялся, прихрамывая, в гору
с фронта возвратившийся солдат.

Далеко ему еще до дома,
и другой туда, пожалуй, путь,
только очень к девушке знакомой
хочется солдату заглянуть.

Снова к сердцу подступило прошлое,
сжались от обиды кулаки.
Девушка простилась по-хорошему
и не написала ни строки.

Позабыла девушка, наверное,
вечера на отмелях Оки,
поглядеть бы ей в глаза неверные
и уйти, не протянув руки.

Он курчавой тропкою проходит,
за ноги цепляется вьюнок...
Бабка свеклу полет в огороде —
окликает: «Заходи, сынок!»

До чего же это все родное,
даже не задетое бедой!
В темных сенцах кадка с ледяною
сладкою колодезной водой.

Зеленеет свет на подоконнике
сквозь густую пыльную листву,
на комоде каменные слоники
выстроены в ряд по старшинству.

Над комодом в рамках и без рамок
полинялых фотографий ряд —
дедовских, отцовских, тех же самых,
что висели тридцать лет назад.

И внезапно щеки побледнели:
не замеченная до сих пор,
девушка в пилотке и шинели
посмотрела со стены в упор.

ФИАЛКИ

Был теплый день. Кричали галки.
Мальчишка, ясноглаз и рус,
срывал в березняке фиалки
и клал их в дедовский картуз.
Он так был счастлив, отыскав
семью душистых, мокрых, милых,
с тончайшей сетью темных жилок
на лиловатых лепестках.
Он шел домой.
А на дороге
чужой, с винтовкой на весу,
сказал ему: «Чего ты бродишь?
Чего ты шляешься в лесу?»
Взял за руку. Пошли, свернули.
Но мальчик вырвался из рук,
забыв, что существуют пули,
и, слыша только сердца стук,
нырнул в кустарник, легкий, быстрый.
И раньше, чем беду постиг,
скорее, чем умолкнул выстрел,
на молодой траве затих.
Лежит в кустах застывший, жалкий,
и глаз мертва голубизна...

И вот опять пришла весна.
Опять в лесу цветут фиалки.
Опять теплынь. Но все не так,
все иначе — ясней и краше.
Враг далеко. Все это наше:
и лес, и тропы, и овраг,
и песня робкого щегленка,

и брызги света без числа,
и прошлогодняя воронка,
что лопухами заросла.
Цветы, роса — все наше это.
И с каждым часом горячей
касання солнечных лучей.

.
А мальчик не увидит лета.

ПИСЬМО

Хмуро встретили меня в палате.
Оплывала на столе свеча.
Человек метался на кровати,
что-то исступленное крича.

Я из стиснутой руки солдата
осторожно вынула сама
неприглядный, серый и помятый
листик деревенского письма.

Там, в письме, рукою неумелой
по-печатному писала мать,
что жива, а хата погорела
и вестей от брата не слышать.

Что немало горя повидали,
что невздам не было конца,
что жену с ребенком расстреляли,
уходя, у самого крыльца.

Побледневший, тихий и суровый
в голубые мартовские дни
он ушел в своей шинели новой,
затянув скрипучие ремни.

В коридоре хрустнул пол дощатый,
дверь внизу захлопнулась, звеня.
Человек, не знающий пощады,
шел вперед, на линию огня.

Шел он, плечи крепкие сутуля,
нес он ношу — ненависть свою.
Только бы его шальная пуля
не задела где-нибудь в бою...

Только не рванулась бы граната,
бомба не провыла на пути,
потому что ненависть солдату
нужно до Берлина донести!

ПТИЦА

Бои ушли. Завесой плотной
плывут туманы вслед врагам,
и снега чистые полотна
расстелены по берегам.

И слышно: птица птицу кличет,
тревожа утреннюю стынь.
И бесприютен голос птичий
среди обугленных пустынь.

Он бьется, жалобный и тонкий,
о синеву речного льда,
как будто мать зовет ребенка,
потерянного навсегда.

Кружит он в скованном просторе,
звения невыносимой тоской,
как будто человеческое горе
осталось плакать над рекой.

ГОРОДОК

Не прозвучит ни слово, ни гудок
в развалинах, задохшихся от дыма.
Лежит убитый русский городок,
и кажется — ничто непоправимо.

Еще в тревожном зареве закат
и различимы голоса орудий,
а в городок уже приходят люди.
Из горсти пьют, на дне воронки спят.

И снова дым. Но дым уже другой —
теперь он пахнет теплотой и пищей.
И первый сруб, как первый лист тугой,
из черного выходит корневища.

И медленная светлая смола,
как слезы встречи, катится по стенам.
И верят люди: жизнь благословенна,
как бы она сурова ни была!

БЕЖЕНЕЦ

Он из теплушки на траву горячую
по-стариковски спрыгнул тяжело.
В косых лучах столбы вдали маячили,
и все в степи жужжало и цвело.

Внезапная прохлада наплывала,
вода журчала в чаще ивняка,
и эту воду пили у привала
и брали в чайник вместо кипятка.

Старик лежал, глазами безучастными
следя за колыханьем колоска.
Десятками травинок опоясанный,
зеленый мир качался у виска.

Июльский воздух, раскаленный, зримый,
над степью тек. Старик лежал на дне.
Все, не касаясь, проходило мимо.
Он жил все там — в своем последнем дне.

Такое же вот солнце заходящее,
бормочущего сада забытье,
мычанье стада и в кустах блестящее
днестровское тяжелое литье.

От памяти нам никуда не деться,
не выжечь в мыслях прошлого огнем,
но если лучше в прошлое взглядеться,
увидеть можно будущее в нем.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ветер тучи, свирепая, рвет,
горизонт отяжелел дождем.
Поворот, и снова поворот,
а за сотым поворотом — дом.

Глухо рухнул громовой раскат,
хлынул ливень, белый и прямой.
Но с дороги не свернул солдат —
возвращается солдат домой!

По оврагам кружится плетень.
Хорошо дойти бы до зари!..
В шуме ливня угасает день,
прыгают по лужам пузыри.

Поворот... И снова поворот...
Крыша будто издали видна,
ясень яснолистый у ворот.
Вот она и кончилась — война!

Реже дождь... За лугом вдалеке
зажелтела узкая заря,
заплескались гуси на реке,
на своем наречье говоря.

Вот и мостик — скользкая доска,
вот калитка, вот вошел во двор,
вот ласкает грубая рука
дорогой мальчишеский вихор.

Весь он ветром и травой пропах,
выгоревший на припеке чуб.
Руки на плечах, и на губах
теплота ребячьих мягких губ.

А жена выходит на крыльцо,
за ручонку девочку держа.
Побелело у бойца лицо,
почернела у бойца душа.

«Здравствуй, ненаглядная жена!
Видно, женам весела война!
Как, скажи, без мужа прожила,
как, скажи, дочурку назвала?»

Тихими зарницами светя,
иссякает дальняя гроза.
«Называла девочку не я,—
я отца не видела в глаза!»

Может, он в дозор с тобой ходил;
может, он с тобой в землянке жил;
может, он тебе, когда привал,
песни пел и прикурить давал.

Речь твоя обидна и горька,
нет на свете твоего дружка...
Девочка глупа еще, мала,—
нынче все отца домой ждала».

Помолчала... Невеселый взгляд
отвела она от мужа прочь.
И тогда шагнул к жене солдат
И сказал сурово: дай мне дочь!

.
.

Мирное домашнее тепло,
позабитый за войну уют.
Одинок стук в стекло,
капли запоздалые снуют.

И лежат за окнами поля —
тихие, раздольные края.
И вздыхает вольная земля —
мокрая, прогретая, своя!

В ЛЕСУ

Навстречу сосны. Нет конца им...
День ярче, выше, горячей,
но хвойный кров непроницаем
для ливня солнечных лучей.

Лишь кое-где во мраке вкраплен
как будто золота кусок.
И с веток солнечные капли
сочатся в розовый песок.

В лесу торжественно и тихо...
Но я не слышу тишины,—
еще не умер отзвук дикой,
железной музыки войны.

И с молодой березкой рядом,
ее шуршанием одет,
стоит расщепленный снарядом
сосны обугленный скелет.

О С Е Н Ь 1941 Г О Д А

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Знакомый, ненавистный визг...
Как он в ночи тягуч и режущ!
И значит — снова надо вниз,
в неведение бомбоубежищ.

И снова поиски ключа,
и дверь с задвижкой тугою,
и снова тельце у плеча,
обмякшее и дорогое.

Как нáзло, лестница крута, —
скользят по сбитым плитам ноги;
и вот навстречу, на пороге —
бормочущая темнота.

Здесь времени потерян счет,
пространство здесь неощутимо,
как будто жизнь, не глядя, мимо
своей дорогою течет.

Горячий мрак, и бормотанье
вполголоса. И только раз
до корня вздрагивает зданье,
и кто-то шепотом: «Не в нас».

И вдруг неясно голубой
квадрат в углу, на месте двери:
«Тревога кончилась. Отбой!»
Мы голосу не сразу верим.

Но лестница выводит в сад,
а сад омыт зеленым светом,
и пахнет резедой и летом,
как до войны, как год назад.

Идут на дно аэростаты,
покачиваясь в синеве.
И шумно ссорятся ребята,
ища осколки по примятой,
белесой утренней траве.

В КУДИНОВЕ

Небо чисто, зелено и строго.
В закопченном тающем снегу
танками изрытая дорога
медленно свивается в дугу.

Где-то на лиловом горизонте
низкий дом, запорошенный сад...
Ты подумай только: как о фронте,
о деревне этой говорят, —

где в то лето солнечные слитки
падали в смолистый полумрак,
где у сделанной тобой калитки
как-то утром распустился мак.

Где ночами, за белесой пряжей,
ухала унылая сова,
где у маленькой девчурки нашей
складывались первые слова.

Как душе ни трудно и ни тяжело,
все равно забыть я не могу
шелковую мокрую ромашку,
девочку на солнечном лугу.

Как теперь там странно, незнакомо,
каждый куст на прежний не похож,
как, наверное, страшна у дома
пулемета бешеная дрожь.

Как, наверное, угрюм и мрачен,
слыша дальний, все растущий вой,
у калитки старой нашей дачи,
стиснув зубы, ходит часовой.

РАЗГОВОР С МОСКВОЙ

В Москве тревога — это знали все,
и ждали долго, хмуро и упорно.
Врывались ветки в матовой росе
в открытое окно переговорной.
Уже светало. Где-то вдалеке
кричал петух. Людей ко сну клонило.
Телефонистка в вязаном платке
мой номер первым вызвала лениво.
В кабине было душно и темно.
Твой голос вдруг раздался где-то рядом.
Гнездо мое... Не тронута оно,
с его окном, с его осенним садом.
Ты мне сказал: «Сейчас спустился вниз».
Я поняла: ведь я с тобой стояла
всю ночь, пока стучало о карниз
осколками горячего металла.
Но разговор был короток и сух.
Я не сказала ничего, что надо.
И как сумеешь передать на слух
тепло руки, касанье губ и взгляда!..
И все равно, я знала: ты живешь.
Пришел рассвет, умолкнули зенитки.
Одолевая утреннюю дрожь,
ты режешь хлеб и греешь чай на плитке.
А я иду по утренней росе,
за крышами — серебряная Волга,
грузовики грохочут по шоссе,
кричит буксир настойчиво и долго.
И это — жизнь. И мы пройдем по ней.
Наш путь один, и счастье наше — тоже.
В крови, в пыли — и тем еще родней,
в опасности — и тем еще дороже.

УТРО

Еще, наверно, в сумраке глухом
луна глядит на город желтым оком,
еще рассвет неопытным штрихом
не обозначил затемненных окон,
а мне не спится. Время истекло,
и, прогоняя образы ночные,
посыпались в дремотное тепло,
как медленные льдинки, позывные.
Мне слышно все за тонкою стеной.
Как «Широка страна моя родная...»,
течет по сердцу струйка ледяная:
что сделали с родной моей страной!
О, этот звонкий холод по утрам,
когда темно и день еще не начат!
А надо жить. Как дует в щели рам,
как осень в трубах по-ребячьи плачет!
Встаю. Иду. Растапливаю печь.
Дрова шипят. Они опять потухли.
Как едок дым, как трудно мне разжечь
чужую печь в чужой холодной кухне!
Квадрат окна теперь невнятно сиз.
Рассвет вползает нехотя и хмуро.
Колючий дождь царапает карниз,
в сенях молчат нахохленные куры.
Я прихожу с расплесканным ведром,
дыханьем грею синие ладони.
Как я давно покинула мой дом!
Но я уже не думаю о доме.
Все, что когда-то было мне дано,
опять встает, с ненастным утром споря,
и так уж, видно, людям суждено —
о счастье помнить в самом горьком горе.
И вот я вижу первую траву,
несмелую, в еще прозрачном парке.

Москвы-реки рябую синеву
избороздили хрупкие байдарки.
Сбегаю вниз... По ветру легкий флаг
полощется над пристанью резною,
но вход закрыт, и непросохший лак
слепит глаза полднейной белизною.
Москва моя! Недобрые леса
от глаз моих надолго заслонили
твоих домов янтарные глаза,
твоих мостов негнущиеся крылья,
Нескучный сад в торжественной парче,
и то шоссе, что мне все время снится,
и первый снег, как перья белой птицы,
у Пушкина на бронзовом плече.
...Я позабыла, что в Москве темно.

ДОРОГА

До города двенадцать километров.
Шоссе как вымерло — ни человека...
Иду одна, оглохшая от ветра,
перехожу взлохмаченную реку.
Мы на реке с тобой бывали вместе,
когда-то шли по этой вот дороге...
Как увязают в чавкающем тесте
усталые по непривычке ноги.
Как больно хлещут ледяные плети,
какой пронзительный, угрюмый вечер,
и ни огня на целом божьем свете,
и от мешка оцепенели плечи.
В нем розовая крупная картошка,
пронизанная сыростью осенней.
Приду и стукну в крайнее окошко,
и мать с огарком отопрет мне сени.
Огонь запляшет, загудит в железке,
вода забулькает. А я раскрою дверцу
и сяду возле. И при жарком блеске
письмом вчерашним отопрею сердце.
И долгий путь сквозь мокрое ненастье
осенней ночью — хриплой и бездомной —
мне кажется ничтожно малой частью
одной дороги — общей и огромной.

ПИСЬМО

Летел сквозь бурю лунный круг,
и ветер тучи рвал.
Письмо мне передал твой друг
проездом на Урал.

Спеша, конверт, промокший весь,
я тут же сорвала.
И не могла письма прочесть —
такая тьма была.

И только свет, неверный свет
октябрьской луны
упал на маленький портрет
с летящей вышины.

И поняла я по чертам
неясного лица,
что ты, конечно, будешь там
до самого конца.

И пожалела об одном:
что разный путь у нас,
что я не в городе родном
в такой тяжелый час.

ОКТАБРЬ 1941 ГОДА

Оправлен город в золото и медь.
С утра дымки над крышами толпятся.
Беспечный день. Как может он смеяться,
как смеет в листьях пурпуром гореть?
Как солнце в небе не потупит взгляда,
когда такое горе у дверей,
когда ни света, ни тепла не надо,
когда к Москве подходит канонада,
тяжелый гром немецких батарей?
Мне кажется, он медленно сочится
в безветрие чужого городка.
Но полдень тих, щебечет мирно птица,
висит листва, беззвучна и ярка.
Что делать мне? Я только помнить вправе.
Я только, жить тобой не перестав,
весь день блуждаю на границе яви,
от Кудрина до городских застав.
Мне, может быть, сюда вернуться надо б,
здесь тоже путь по-воински суров,
а я все там — между рогатых надолб
и выкопанных москвичами рвов.
А день идет... И стоголосым звоном
звонит в ушах бессонница. И ночь
опять приходит новым эшелонем,
на прошлую похожая точь-в-точь.
Опять идут измученные люди,
опять носилки, костыли, бинты,
страданье, кровь, простреленные груди
и хриплый бред палатной темноты.
Раздача чая, и разборка почты,
и настигающий врасплох рассвет,
и теплота на сердце оттого, что
тот, новый, спит, укрыт и обогрет.
Теперь бы лечь. На полчаса забыться.

Совсем светло. Усталость валит с ног.
А как мне спать? Мне надо торопиться,
опять идти какой-то из дорог.
Куда идти? Зачем идти? Кто помнит?
Опять бульвары и ночной Арбат,
метро и стены незнакомых комнат,
в глазах огни какие-то рябят...
Нет, я не сплю. Сменяются в дежурке.
Здесь госпиталь военный. Но, постой,
зачем в цветок набросаны окурки?
Там их нельзя бросать, на мостовой.
Над площадью, умытой и студеной,
там желтая высокая заря...
Опять идут военные колонны,
как в тот последний праздник Октября.
Кричат «ура»... И я с трибуной рядом.
И вот, в последнем озаренье дня,
он снова добрым утомленным взглядом
в упор с улыбкой смотрит на меня.
С Москвы-реки поземка ледяная
летит, шелка над строем теребя,
и я смеюсь от радости: «Родная
Москва моя! Он не отдаст тебя!»
Кричат «ура». В ушах звенит от крика.
Я ухожу, но я вернусь опять.
Как мне спокойно. Как тепло и тихо.
Как мне смертельно захотелось спать.
А утром сводка: в первый раз — другая.

НОЧЬ

(Зима 1942 г.)

Смеясь и щуря сморщенные веки,
седой старик немислимо давно
нам подавал хрустящие чуреки
и молодое мутное вино.

Мы пили все из одного стакана
в пронзительно холодном погребе,
и влага, пенясь через край, стекала
и на землю струилась по руке.

Мы шли домой, когда уже стемнело
и свежей мглой потянуло с гор.
И встал до неба полукругом белым
морскою солью пахнувший простор.

От звезд текли серебряные нити,
и на изгибе медленной волны
дрожал блестящим столбиком Юпитер,
как отражение крохотной луны.

А мы купались... И вода светилась...
И вспыхивало пламя под ногой...
А ночь была как музыка, как милость —
торжественной, сияющей, нагой.

.

Зачем я нынче вспомнила про это?
Здесь только вспышки гаснущей свечи,
и темный дом, трясущийся от ветра,
и вьюшек стук в нетопленной печи.

Проклятый стук, назойливый, как Морзе!
Тире и точки... точки и тире...
Окно во льду, и ночь к стеклу примерзла,
и сердце тоже в ледяной коре.

Еще темней. Свеча почти погасла.
И над огарком синеватый чад.
А воткнут он в бутылку из-под масла
с наклейкой рваной — «Розовый мускат».

Как трудно мне поверить, что когда-то
сюда вино звенящее текло,
что знало зной и пенные раскаты
замасленное, мутное стекло!

Наверно, так, взглянув теперь в глаза мне,
хотел бы ты и все-таки не смог
увидеть снова девочку на камне
в лучах и пене с головы до ног.

Но я все та же, та же, что бывало...
Пройдет война, и кончится зима.
И если бы я этого не знала,
давно бы ночь свела меня с ума.

ЯБЛОКИ

Ю. Р.

Ты яблоки привез на самолете
из Самарканда лютою зимой,
холодными, иззябшими в полете
мы принесли их вечером домой.

Нет, не домой. Наш дом был так далеко,
что я в него не верила сама.
А здесь цвела на стеклах синих окон
косматая сибирская зима.

Как на друзей забытых, я глядела
на яблоки, склоняясь над столом,
и трогала упругое их тело,
пронизанное светом и теплом.

И целовала шелковую кожу,
и свежий запах медленно пила.
Их желтизна, казалось мне, похожа
на солнечные зайчики была.

В ту ночь мне снилось: я живу у моря.
Над морем зной. На свете нет войны.
И сад шумит. И шуму сада вторит
ленивое шуршание волны.

Я видела осеннюю прогулку,
сырой асфальт и листья без числа.
Я шла родным московским переулком
и яблоки такие же несла.

Потом с рассветом ворвались заботы.
В углах синел и колыхался чад...
Топили печь... И в коридоре кто-то
сказал: «По Реомюру — пятьдесят».

Но как порою надо нам немного:
среди разлук, тревоги и невзгод
мне легче сделал трудную дорогу
осколок солнца, заключенный в плод.

* * *

Ты ложишься непривычно рано.
Прихожу, а комната темна.
Верно, спишь — я спрашивать не стану.
Света нет. И печка холодна.

Знаю, стосковалась ты по доме
долгою сибирскою зимой.
Взять тебя бы в теплые ладони,
отнести бы сонную домой.

Чтобы утром, как не расставались,—
круглый столик, снимок на стене...
Все, как раньше, все — любая малость,
издали любимая вдвойне.

Чтобы, воду зажигая в кружке,
ластясь у знакомого плеча,
пролегли от окон до подушки
два косых смеющихся луча.

Чтобы ты, глаза от света жмуря,
озадаченная тишиной,
поняла, что отгремела буря,
что прошла, не тронув, стороной.

За тебя, за твой беспечный вечер,
за покой усталого лица
всю бы тяжесть я взяла на плечи
и дошла бы с нею до конца.

За окном морозного тумана
мутная глухая пелена.
Я тебя обманывать не стану:
продолжается война.

ДОМОЙ

Сквозь дрему глухую, предутренний сон
я чувствую: поезд идет под уклон.
Прильнула к окну шелестящая муть,
легчайшим изгибом свивается путь.

И в свете февральских расплывчатых звезд
в двенадцать пролетов над Волгою мост.

В мерцанье рассвета уходит река.
Лесами скользит эшелона змея.
На запад, на запад, где дремлет Москва,
где в облаке сизом — родная моя.

Я завтра увижу покинутый дом,
я завтра приду к дорожному крыльцу, —
приду и немного помедлю на нём,
дорожный платок прижимая к лицу.

Я вспомню о щелях в садовой тени,
о вое тревог по ночам и о том,
как мы в беспокойные первые дни
полоски на стекла клеили крестом.

И самое горькое вспомнится мне:
взволнованный, людный, вечерний вокзал,
и небо в щемящем закатном огне,
и что мне любимый, целую, сказал.

Мне этого часа вовек не забыть.
Да разве мы прежде умели любить?
Да разве мы знали, что значит война,
как будет разлука горька и длинна?
...На запад скользит эшелона змея,
все ближе мой город, отчизна моя!

* * *

Вот и город. Первая застава.
Первые трамваи на кругу.
Очень я, наверное, устала,
если улыбнуться не могу.

Вот и дом. Но смотрят незнакомо
стены за порогом дорогим.
Если сердце не узнало дома,
значит, сердце сделалось другим.

Значит, в сердце зажилась тревога,
значит, сердце одолела грусть.
Милый город, подожди немного, —
я смеяться снова научусь.

СТИХИ О ДОЧЕРИ

I

Душная, безлунная
наступила ночь.
Все о сыне думала,
а сказали: «Дочь».

Хорошо мечтается
в белизне палат...
Голубые лампочки
у дверей горят.

Ветер стукнул форточкой,
кисею струя.
Здравствуй, милый сверточек,
доченька моя!

Все такое синее,
на столе — цветы.
Думала о сыне я,
а родилась — ты.

Ты прости, непрошенный
ежик сонный мой.
Я тебя, хорошую,
отвезу домой.

Для тебя на коврике
вышита коза,
у тебя, наверное,
синие глаза...

Ну... а если серые —
маме все равно.

.
Утро твое первое
смотрится в окно.

II

Мне с каждым днем милее ты:
все тверже взгляд, все звонче лепет.
Как будто новые черты
рука невидимая лепит.

Ночник... И тени на стене...
Мне часто по ночам не спится.
Вот шевельнулись в полусне
твои спокойные ресницы.

Ты просыпаешься. И, где б
я ни была, зовешь в испуге.
И пух волос твоих нелеп,
как у нахохленной пичуги.

И так похожи на цветы
румянец щек, и мягкость лапок,
и пухлость губ, и милый запах
ребячьей сонной теплоты.

III

Ты счета не ведешь годам,
встречая только третье лето.
Твоих мгновений череда
туманом солнечным одета.

Уколы маленьких обид
тебя еще не могут ранить,
и огорчений не хранит
твоя ребяческая память.

И, милой резвости полна, —
как знать ребенку тяжесть ноши? —
ты слово новое — «война» —
лепечешь, хлопая в ладоши.

Вагон бросало и качало.
 Молчали все. А вечер гас.
 И каждый знал: еще начало,
 еще неясный первый час.

Казалось мне: за далью алой
 гремят грядущие бои...
 Но как бессильно я сжимала
 ручонки пыльные твои!

А после ночь. Без искры света
 свершался необычный путь.
 Скажи, ответь — ты помнишь это?
 И если помнишь — позабудь.

Живи, цветам и песням рада,
 смеясь, горюя и любя,
 а помнить этого не надо:
 я буду помнить за тебя.

Тревога. Грусть. Приходит почтальон —
 ни весточки о милом человеке...
 А городок метелью занесен
 до самых крыш. И, кажется, навеки.

Наш новый дом в сугробах под горой,
 к нему бежит петлистая дорожка,
 в нем есть окно за ледяной корой,
 печурка есть, горячая картошка.

Есть девочка. Зеленые глаза,
 лукавый рот и бантик цвета мака.
 Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
 при ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймет. С недетской теплотой
 ладошки мягкие ко мне на плечи лягут...
 Нельзя при ней, при маленькой такой, —
 ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе,
я нарисую зайчика в тетради.
Я засмеюсь — ее улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...

VI

Суровый год. В траве чернеют щели,
но дни июня ветрено свежи.
Опять шумят разлапистые ели,
и чертят небо легкие стрижи.

Орлы сидят за ржавую решеткой,
полуприкрыв окаменелый взгляд.
Кричит павлин, барсук ютится кроткий
среди смешных мохнатых медвежат.

Иду с тобой по парку не спеша я,
над нами листьев солнечная дрожь...
Когда-нибудь ты вырастешь большая
и эти строки снова перечтешь.

Как взмах крыла, как искра в синем дыме,
они опять пересекут твой путь.
Они тебе покажутся простыми,
далекими, наивными чуть-чуть.

И все-таки ты радостно и мило
лукавый свой на миг потупишь взгляд, —
совсем как та, которая ходила
по воскресеньям с мамой в зоосад.

VII

А круг все ширится. В него вовлечены
природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пестрые нужны:
упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное «нельзя»,
все льнет ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая, —
мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
передвигает красные флажки
и, Прут найдя на карте в полминуты,
обводит пальцем ниточку реки.

Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: «Мама,
а было так, что не было войны?»

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
еще успеешь в жизни позабыть.

Л И Р И К А

* * *

Помню празднество ветра и солнца,
эти лучшие наши часы,
и ромашек медовые донца,
побелевшие от росы.

Помню ржавые мокрые листья
в полусвете угасшего дня.
Горьких ягод озябшие кисти
ты с рябины срывал для меня.

Помню, снежные тучи повисли,
их кружила седая вода.
Все улыбки, и слезы, и мысли
я тебе отдавала тогда.

Я любила и холод вокзала,
и огней исчезающий след...
Я, должно быть, тогда еще знала —
так рождается песня на свет.

* * *

I

У каждого есть в жизни хоть одно,
свое, совсем особенное место.
Припомнишь двор какой-нибудь, окно,
и сразу в сердце возникает детство.

Вот у меня: горячий косогор,
в ромашках весь и весь пропахший пылью,
и бабочки. Я помню до сих пор
коричневые с крапинками крылья.

У них полет изменчив и лукав,
но от погони я не уставала —
догнать, поймать во что бы то ни стало,
схватить ее, держать ее в руках!

Не стало детства. Жизнь суровой, строже.
А все-таки мечта моя жива:
изменчивые, яркие слова
мне кажутся на бабочек похожи.

Я до рассвета по ночам не сплю,
я, может быть, еще упрямей стала —
поймать, схватить во что бы то ни стало!
И вот я их, как бабочек, ловлю.

И с каждым разом убеждаюсь снова
я в тщетности стремленья своего —
с пылью стертая, тускло и мертво
лежит в ладонях радужное слово.

II

Нельзя о слове, как о мотыльке!
Ты прав. Я вижу: на заре бессонной,
как золото, блестяще и весома,
лежит оно в неверящей руке.

А после друг нагонит по следам
старателя с неожиданной находкой,
оценит цвет и тяжесть самородка
и равнодушно скажет: «Колчедан».

III

Когда-то я любимого ждала,
единственного нужного на свете!
Тогда был май, черемуха цвела,
в окно влетал студеной горький ветер.

Был лунный сад в мерцающем снегу;
он весь дышал, смеялся веткой каждой,
а мне казалось — больше не смогу!
Но я тогда другой не знала жажды!

Он не пришел. Зазеленел рассвет.
Истлели звезды. Звякнула синица.
И вот теперь мне кажется... Но нет,
ничто с моей тоскою не сравнится,

когда слова теснятся в темноте,
уходят, кружат и приходят снова,
ненужные, незванные, не те,
и нет нигде единственного слова!



Нет, и это на правду совсем не похоже —
облетает пыльца, и уходят друзья.
Жить без бабочки можно,
без золота — тоже,
без любимого — тоже, —
без песни — нельзя.

* * *

Словно засыпающий ребенок,
бормотал невнятное родник.
И казался трогательно тонок
полумесяц, вышедший на миг.

Помнится неловкое объятие
у приволжских шелковистых ив,
и как долго не могла понять я,
отчего со мной ты молчалив.

.

Как невесел месяц на ущербе,
как поля озябшие пусты,
как мертвы на постаревшей вербе
свернутые в трубочку листья!

Мы с тобою тоже постарели:
каждому дорога нелегка...
От шершавого сукна шинели
разгорелась у меня щека.

Но спроси, и я тебе отвечу,
что за встречу, посланную нам,
за подаренный судьбою вечер
я любую молодость отдам.

РАЗЛУКА

I

В руке сжимая влажные монеты,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как в темноте, в слепом пространстве где-то,
звонок смеется в комнате пустой.

Я опоздала. Ты ушел из дома.
А я стою — мне некуда идти.
На ветровой простор аэродрома
в такую ночь не отыскать пути.
И я шепчу сквозь слезы: «До свиданья!
Счастливый путь, любимый человек!»
Ничтожная минута опоздания
мне кажется разлукою навек.

II

Утром на пути в аэропорт
улицы просторны и пусты.
Горизонт туманом полустерт,
розовеют почками кусты.
Вся в росе, младенчески мягка
вдоль шоссе топорщится трава.
В сердце с ночи забралась тоска —
каждая разлука такова.
На перроне — голубой забор,
тени бродят, на песке скользя...
Дальше — ветер, солнце и простор.
Дальше провожающим нельзя.
В облаках, стихая, как струна,
«Дуглас» чертит плавный полукруг.
Радость встреч была бы не полна
без щемящей горечи разлук.
За разлукой есть далекий час.
Как мы станем ждать его с тобой!..
Он всегда приходит в первый раз,
заново подаренный судьбой.

* * *

Спокойный вечер пасмурен и мглист.
Не слышно птиц среди древесных кружев.
Пустынна улица. Последний ржавый лист
в морозном воздухе легчайший ветер кружит.

Любимая осенняя пора.
На облаках — сиреневые блики,
на светлых лужицах каемка серебра,
и над землей — покой, безмерный и великий.

Как лживо все: и эта тишина,
и мягкий полог облачных волокон...
Как пристально в глаза людей война
глядит пустыми впадинами окон.

* * *

Настойчивой стайки воспоминаний
никак мне нынче не отогнать.
Глаза закрываю, а все в тумане
балтийской зари золотится прядь.

И тучи, курчавясь, несутся мимо...
И ветер крепчает, волну дробя.
Ты прежде всегда меня звал любимой,
а я не любила, помню, тебя.

Нет. Наши дороги легли не рядом.
Зачем же столько суровых дней
все чудится мне, как воют снаряды
как свищут пули над жизнью твоей?

И мысль пробирается дымной чашей,
по скалам и топям, сквозь ночь и муть.
Я нынче бываю с тобою чаще,
чем прежде бывала когда-нибудь.

Все нынче другое — души и лица,
другая радость, другой покой...
Я так бы хотела тебе присниться
не той, не прежней... совсем другой.

* * *

Ты мне чужой — не друг и не любимый,
на краткий час мы жизнью сведены.
Ты видел смертью взрытые равнины,
а я такой не видела войны.

Горит в пылинках солнечное утро,
мерцает зной... И мы одни с тобой.
Ты так в глаза мои глядишь, как будто
они полны водою ключевой.

Глядишь в глаза, молчишь, сутуля плечи,
рука твоя робка и горяча...
Что я скажу? Как я тебе отвечу?
Ты вправе пить из каждого ключа.

Но как бы сердце правдою ни сжалось,
я все равно ее не утаю:
ты ласки ждешь, а ласки не осталось,
ты ждешь любви — она с другим в бою...

* * *

Резкие гудки автомобиля,
сердца замирающий полет.
В облаках белесой крымской пыли
прячется неожиданный поворот.

Полны звона выжженные травы.
Ветром с губ уносятся слова.
Слева склоны, склоны, а направо —
моря сморщенная синева.

Ветер все прохладнее. Все ближе
дальних гор скалистое кольцо.
Я еще до сумерек увижу
ваше загорелое лицо.

Но когда б в моей то было власти,
вечно путь я длила б, оттого
что минуты приближенья к счастью
много лучше счастья самого.

НОЧЬ

Ночь, как быть мне и как рассчитаться с тобою
за холодный закат, за асфальт голубой,
за огни, за твое колдовство молодое
над речной, смоляной, шелестящей водой?

Набегающий дождь, фонари и скольженье
маслянистых разводов по руслу реки...
Ты пришла, как внезапное опроверженье
всех сомнений моих, всей тоске вопреки.

Глухо плещет вода о бетонное ложе.
Дождь рванулся по крышам. Уныло, темно...
Да... И все-таки так ты на счастье похожа,
что мне кажется — может быть, это оно.

* * *

Да, ты мой сон. Ты выдумка моя.
Зачем же ты приходишь ежечасно,
глядишь в глаза и мучаешь меня,
как будто я над выдумкой не властна?

Я позабыла все твои слова,
твои черты и годы ожиданья.
Забыла все. И все-таки жива
та теплота, которой нет названья.

Она, как зноя ровная струя,
живет во мне. И как мне быть иною?
Ведь если ты и выдумка моя —
моя любовь не выдумана мною.

* * *

И знаю все, и ничего не знаю...
И не пойму, чего же хочешь ты,
с чужого сердца с болью отдирая
налегших лет тяжелые пласты.

Трещат и рвутся спутанные корни.
И вот, не двигаясь и не дыша,
лежит в ладонях, голубя покорней,
тобою обнаженная душа.

Тебе позволена любая прихоть.
Но быть душе забавою не след.
И раз ты взял ее, так посмотри отъ
в ее глаза, в ее тепло и свет.

ОЖИДАНИЕ

От фонаря щемящий свет.
На тротуаре — листьев груд.
Осталась, верно, с детских лет
потребность эта — верить в чудо.

Твои дороги далеки,
неумолимы расстоянья,
а я, рассудку вопреки,
все жду случайного свиданья.

Чернеет глубина ворот,
и холод облегает плечи.
Мне кажется: кто так вот ждет,
когда-нибудь дождется встречи.

ДРУГУ

Ни прошлого мучительное жало,
ни ревности бессмысленная власть.
Бывают дни, когда любовь устала
и прячется, не грея, не лучась.

В такие дни, когда на сердце скука,
а в голосе осенний холодок,
нам кажется возможною разлука,
и тень ее ложится на порог.

Мой старый друг, не трогай нити тонкой
(что порвано — нельзя соединить),
но сбереги, как берегут ребенка,
который при смерти, но должен жить.

ЧИЖ

Я зерна сыпала чижу
и воду в блюде наливала.
Мне было... Сколько — не скажу, —
я до окна не доставала.

Я подставляла, помню, стул,
чижу просовывала ветку,
а чтобы вечером уснул,
платком завешивала клетку

Суббота. Чистые полы.
Басы далеких колоколен.
И стекла празднично светлы.
А чиж молчит, угрюм и болен.

Закат ползет по скатам крыш;
звения, о стекла бьется муха...
В моих ладонях мертвый чиж,
не птица, нет, — комочек пуха.

И не доступная уму
тоска, сжимающая горло...
Сама не знаю почему,
но время этого не стерло.

Я помню: приоткрыла дверь,
и луч дрожит на этой двери...
Мне только, может быть, теперь
понятной стала та потеря.

ОСЕНЬ

Нынче улетели журавли
на заре промозглой и туманной.
Долго, долго затихал вдали
разговор печальный и гортанный.

С коренастых вымокших берез
тусклая стекала позолота;
горизонт был ровен и белес,
словно с неба краски вытер кто-то.

Тихий дождь сочился без конца
из пространства этого пустого...
Мне припомнился рассказ отца
о лесах и топях Августова.

Ничего не слышно о тебе.
Может быть, письмо в пути пропало,
может быть... Но думать о беде —
я на это не имею права.

Нынче улетели журавли...
Очень горько провожать их было.
Снова осень. Три уже прошли...
Я теплее девочку укрыла.

До костей пронизывала дрожь,
в щели окон заползала сырость...
Ты придешь, конечно, ты придешь
в этот дом, где наш ребенок вырос.

И о том, что было на войне,
о своем житье-бытье солдата
ты расскажешь дочери, как мне
мой отец рассказывал когда-то.

КОСТЕР

Чахлый лес, сквозной, багряно-рыжий,
заткан солнцем вдоль и поперек.
Как сейчас я этот полдень вижу,
красный от брусники бугорок.

Корчится атласная берёста
на почти невидимом костре.
Мне с тобою весело и просто,
как девчонке, школьнице, сестре.

Наверху негреющая просинь,
зябких листьев вековечный спор.
Мы придем на будущую осень
в эту рощу разложить костер.

А на осень бушевала буря.
Ты вернулся без меня, один.
Потерялся в непривычном гуле
лепет перепуганных осин.

И в шинели серой, с автоматом
у березовых атласных ног
ты прилег за круглый и примятый
красный от брусники бугорок.

И пошли, пошли пути-дороги
колесить на тысячи ладов.
И стоишь теперь ты на пороге
незнакомых прусских городов.

Верно, скоро выйдет срок разлуке.
И, придя в знакомые места,
отогреем мы сердца и руки
у родного русского костра.

ТРОПИНКА

Ночами такая стоит тишина,
стеклянная, хрупкая, ломкая.
Очерчена радужным кругом луна,
и поле дымится поземкою.

Ночами такое молчанье кругом,
что слово доносится всякое,
и скрипы калиток, и как за бугром
у проруби ведрами звякают.

Послушать, и кажется: где-то звучит
железная разноголосица.
А это все сердце стучит и стучит —
незрячее сердце колотится.

Тропинка ныряет в пыли голубой,
в глухом полыхании месяца.
Пойти по тропинке — и можно с тобой,
наверное, где-нибудь встретиться.

* * *

Песня моя, куда ты ушла,
где мы расстались с тобой?
Сыпятся звезды, зреет шашла,
грозен осенний прибой...
Дымные космы по ветру клубя,
мчится вдоль берега он.
Как мне тревожно, песня моя,
радость не в радость мне без тебя,
сон без тебя не в сон.
Может быть, ты залетела туда,
где обнимается с небом вода?
Может, скитаешься в диких камнях?
Спишь, можжевельник шершавый обняв?
Может, ты видишь такое во сне,
что никогда не привидится мне!
Может, ты снова шагаешь в поход,
гибнешь в беззвездную, в ту
страшную полночь под Новый год
в Феодосийском порту?
Медленно тянется дней череда
пугающей пустоты...
Песня моя, а вдруг навсегда
меня покинула ты?
Рамы пускаются в пляс на ветру,
стекла бросает в дрожь...
Я не засну и дверь не запру —
а вдруг ты сегодня придешь?

* * *

Еще шуршат, звенят и шепчут капли,
с листвы катясь в пахучую траву.
И каждый звук в молчанье сада вкраплен,
как зерна звезд в ночную синеву.

Перед окном черемух горьких чащи,
как будто вниз упали облака.
На этот мир цветущий и звенящий
я не могу смотреть издалека.

Мне мало звезд — десятков, сотен, тысяч.
Моя тоска тревожна и остра.
Я так хочу хотя бы искру высечь
для твоего неяркого костра.

Далекие лучистые кристаллы.
Холодные небесные огни.
Мне мало звезд, мне лучших песен мало,
когда не мною созданы они.

Пути-дороги
1951

НАШИ ДРУЗЬЯ

* * *

Насыпает камешки в ведерки,
носит от скамейки до ворот...
Я стою на солнечном пригорке
в первый раз в пилотке, в гимнастерке...
Девочка меня не узнает.

Я сама себя бы не узнала
три недолгих месяца назад...
Вдруг она взгляделась, подбежала,
засмеялась: «Мама, ты солдат?»

Жестяные пыльные ведерки
раскидала посреди двора...
Для нее пока еще игра —
новый двор и мама в гимнастерке.

* * *

Уходит день. В углах синее тени.
Бледнеют туч румяные края.
Ко мне, как медвежонок, на колени
карабкается девочка моя.

Беру ее, касаюсь шейки тонкой,
откидываю волосы со лба.
Она смеется беззаботно, звонко,
она со мной, храни ее судьба!

В такое время нелегко на свете,
и много в жизни сожжено дотла.
Я никогда не думала, что дети
приносят столько мира и тепла.

* * *

В оцепененье стоя у порога,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как завывает первая тревога
над черною, затихшею Москвой.
Глухой удар,
 бледнеющие лица,
колющий звон разбитого стекла,
но детский сон сомкнул твои ресницы.
Как хорошо, что ты еще мала...

Десятый день мы тащимся в теплушке,
в степи висит малиновая мгла,
в твоих руках огрызок старой сушки.
Как хорошо, что ты еще мала...

Четвертый год отец твой не был дома,
опять зима идет, белым-бела,
а ты смеешься снегу молодому.
Как хорошо, что ты еще мала...

И вот — весна.
И вот — начало мая.
И вот — конец!
Я обнимаю дочь.
Взгляни в окошко,
девочка родная!

Какая ночь!
Смотри, какая ночь!

Текут лучи, как будто в небе где-то
победная дорога пролегла.
Тебе ж видны одни потоки света...
Как жалко мне, что ты еще мала!

ПРИБОЙ

У сутулых камней качало
незнакомый глубинный груз:
рыжих водорослей мочалу,
голубое желе медуз.

А на смуглой ворчащей гальке,
в яркой пене, бегущей вниз,
оставались стекляшки, гайки
и десятки патронных гильз.

И ребенок в белой панамке,
торопясь, хватал из воды
то ли камушки, то ль останки
похороненной здесь беды.

МАТЬ

Года прошли,
а помню, как теперь,
фанерой заколоченную дверь,
написанную мелом цифру «шесть»,
светильника замасленную жечь,
колышет пламя снежная струя,
солдат в бреду...
И возле койки — я.
И рядом смерть.

Мне трудно вспоминать,
но не могу не вспоминать о нем...
В Москве, на Бронной, у солдата — мать...
Я знаю их шестиэтажный дом,
московский дом...
На кухне примуса,
похожий на ущелье коридор,
горластый репродуктор,
вечный спор
на лестнице... ребячьи голоса...
Вбегал он, раскрасневшийся, в снегу,
пальто расстегивая на бегу,
бросал на стол с размаху связку книг —
вернувшийся из школы ученик.
Вот он лежит: не мальчик, а солдат,
какие тени темные у скул,
как будто умер он, а не уснул,
московский школьник... раненый солдат.
Он жить не будет.
Так сказал хирург.
Но нам нельзя не верить в чудеса,
и я отогреваю пальцы рук...
Минута... десять... двадцать... полчаса...
Снимаю одеяло, — как легка
исколотая шприцами рука.

За эту ночь уже который раз
я жизнь держу на острие иглы.
Колючий иней выбелил углы,
часы внизу отбили пятый час...
О как мне ненавистен с той поры
холодноватый запах камфары!
Со впалых щек сбегает синева,
он говорит невнятные слова,
срывает марлю в спекшейся крови...
Вот так. Еще. Не уступай! Живи!
...Он умер к утру, твой хороший сын,
твоя надежда и твоя любовь...
Зазолотилась под лучом косым
суровая мальчишеская бровь,
и я таким увидела его,
каким он был на Киевском, когда
в последний раз,
печальна и горда,
ты обняла ребенка своего.

.

В осеннем сквере палевый песок
и ржавый лист на тишине воды...
Все те же Патриаршие пруды,
шестиэтажный дом наискосок,
и снова дети роются в песке...
И, может быть, мы рядом на скамью
с тобой садимся.
Я не узнаю
ни добрых глаз, ни жилки на виске.
Да и тебе, конечно, невдомек,
что это я заплакала над ним,
над одиноким мальчиком твоим,
в последний час.
Он не был одинок.

КАПИТАНЫ

Не ведется в доме разговоров
про давно минувшие дела,
желтый снимок — пароход «Суворов» —
выцветает в ящике стола.
Попытаюсь все-таки взглядеться
пристальней в туман минувших лет,
увидать далекий город детства,
где родились мой отец и дед.
Утро шло и мглою к горлу липло,
салом шелестело по бортам...
Кашлял продолжительно и хрипло
досиня багровый капитан.
Докурив, в карманы руки прятал
и в белесом мареве зари
всматривался в узенький фарватер
Волги, обмелевшей у Твери.

И возникал перед глазами
причал на стынувшей воде
и домик в городе Казани,
в Адмиралтейской слободе.
Судьбу бродяжью проклиная,
он ждет — скорей бы ледостав...
Но сам не свой в начале мая,
когда вода растет в кустах
и подступает к трем оконцам
в густых гераневых огнях,
и, ослепленный мир обняв,
весь день роскошествует солнце;
когда прозрачен лед небес,
а лед земной тяжел и порист,
и в синем пламени по пояс
бредет красно-лиловый лес...
Горчащий дух набрякших почек,

колючий, клейкий, спиртовой,
и запах просмоленных бочек
и дегтя... и десятки прочих
тяжеловесною волной
текут с причалов, с неба, с Волги,
туманя кровь, сбивая с ног,
и в мир вторгается свисток —
привычный, хрипловатый, долгий..
Волны медлительный разбег
на камни расстилают пену,
и осточертевают стены,
и дом бросает человек...
С трехлетним черноглазым сыном
стоит на берегу жена...
Даль будто бы растворена,
расплавлена в сиянье синем.
Гремят булыжником ободья
тяжелых кованых телег...
А пароход — как первый снег,
как лебедь в блеске половодья...
Пар вырывается, свистя,
лениво шлепаются плицы...
...Почти полсотни лет спустя
такое утро сыну снится.
Проснувшись, он к рулю идет,
не видя волн беспечной пляски,
и вниз уводит пароход
защитной, пасмурной окраски.
Бегут домишки по пятам,
и, бакен огибая круто,
отцовский домик капитан
как будто видит на минуту.
Но со штурвала своего
потом уже не сводит взгляда,
и на ресницах у него
тяжелый пепел Сталинграда.

ЖЕНА ПРОРАБА

Стать врачом она хотела,
малышей учить могла бы,
а на стройке то и дело
говорят:

— Жена прораба.—

Далеко, как будто не был,
переулок у Арбата,
светло-дымчатое небо,
домик с крышею покатою..
Здесь брезента плотный полог,
хлопающий на ветру,
солнца жгучего осколок
вспарывает поутру.

И теперь ее нисколько
не смутит наверняка,
если вдруг к походной койке
соберутся облака,
если за полночь в палатку
речка вломится, бурля,
если, встряхнута взрывчаткой,
из-под ног уйдет земля..
Так положено, товарищ,
здесь, на линии огня.

Ты стираешь, чинишь, варишь,
жизнь походную кланя:

— То тайга, то степь, то горы,
ездишь, ездешь — нет конца! —
...Впрочем, эти разговоры
так... для красного словца.
Может, жены есть счастливей,
но нужнее нет нигде.

Это ты с лопатой в ливень
стыла по пояс в воде.

Это ты в жару, бывало,

била щебень на шоссе,
засыпало путь обвалом —
на раскопку шла, как все...
Как зато была ты рада
и растрогана до слез,
проводя долгим взглядом
первый пробный паровоз...
Над ущельем по отрогам
паровозный лег дымок...
Значит, новая дорога
ждет строителей дорог.
Версты, версты, зной и сырость,
ветры с четырех сторон...
Ну, а сын хорошим вырос —
весь в отца удался он.
Сын находчивый, веселый,
к легкой жизни не привык...
Он сейчас московской школы
самый первый ученик.
Дни идут...
Что зря считать их:
не года важны — дела!
Худенькая, в темном платье,
ты, как девочка, смугла.
Возле узкого пробора
заблестела седина.
Скоро старость?
Нет, не скоро!
И наступит ли она?
Ты с уютом незнакома,
но душа тепла полна.
Ты, как все, хозяйка дома,
только дом твой — вся страна!

АННУШКА ПРИЕХАЛА ДОМОЙ

Аннушка приехала домой.
Было очень холодно и лунно.
Белый след оставил за кормой
теплоход «Парижская коммуна».
Взвизгнуло в уключине весло,
приналег гребец что было силы.
Грузную завозню понесло,—
каждый раз на стрежне их сносило.
На горе в три яруса огни,
на отшибе светится окошко...
Это, Аннушка, твое.
Взгляни,
за оврагом в лопухах дорожка...
Вот ольха блеснула под бугром,
на тропинку резко тень бросаая...
Вот родник...
Сюда, гремя ведром,
прибегала девочка босая...
Где румянец пухлых детских щек,
две косички, узенькие плечи?
— Здравствуй, добрый старый родничок,
дай-ка выпить в честь счастливой встречи!...—
Всхлипывая, в незнакомом платье,
на крылечко выбежала мать.
— Господи, вот радость-то!
А батя
бакены уехал зажигать.
Заскучала, ласточка моя?
Хорошо у вас, а все не Волга!
Чай, опять ты, дочка, ненадолго,
будто дело не потерпит дня! —
...Тысячи помех преодолев,
видный гидротехник из столицы

возвратился с юностью проститься,
напоследок из ключа напиться,
поглядеть, как лунной мглой дымится
дна речного будущий рельеф.
Сколько раз на картах ей самой
зачеркнуть пришлось деревню эту...
На три дня, наездившись по свету,
Аннушка приехала домой.

ПУТИ-ДОРОГИ

СТИХИ О ЛЮБВИ

...Он громко с главным инженером спорил —
расстроенный, багровый человек.
На всех глядел он с неподдельным горем
из-под опухших от бессонниц век.
— Она еще поправится! —

твердил он. —

У ней еще, поверьте, хватит сил! —
Как будто бы о ком-то очень милом,
приговоренном к гибели, просил.
Он был готов заплакать как мальчишка,
тряся упрямо лысой головой...
А дело шло всего о старой вышке,
о скинутой со счета буровой...
...Рустам Али (тридцать второго года)
работал ночь

и день,

и снова ночь

в такую дьявольскую непогоду,
что катерок отшвыривало прочь.
Промок до нитки и оглох от ветра,
от качки тошно стало на душе...
Его никто не заставлял.
Но это,
как он сказал,
«в характере уже».

...А инженер пришел, когда светало.
Он мог бы спать. Но все-таки не спал.
Он вновь проверил сухость аммонала,
взглянул на штольни, осмотрел запал...
У горла билась жилка торопливо.
Он все шагал и глаз не мог закрыть.
И все ему казалось — силу взрыва
возможно сердцем удесятерить.

Все рассказать, все вспомнить — жизни мало.
Тесна бумага, и слова сухи.
Я до сих пор еще не написала
об этом настоящие стихи,
чтоб мне не стыдно было подарить их
своим друзьям, которые везде,
стихи такие, чтобы даже критик
их не назвал «стихами о труде».
Пренебрегая дружеским советом,
сто раз проверив доводы свои,
я все-таки настаиваю:

это

стихи не о труде,
а о любви!

ПУТИ-ДОРОГИ

Мне в путь никто не помахал платочком.
Трехдневный дождь гремел по водостокам...
И вот я стала движущейся точкой
с северо-запада к юго-востоку.

Навстречу рощи мокрые летели
и крыльями озябшими шуршали...
Летели искры огненной метелью
и кувыркались в речке с камышами.

Мостов кричало гулкое железо,
и встречный поезд, оглушая свистом,
как вихрь, вывертывался из-за леса
и исчезал за поворотом мгlistым...

На полустанках бегали ребята —
веселая продрогшая орава,
те самые, с которыми когда-то
я, девочкой, бруснику собирала.

В купе висел слоистый дым махорки,
окошко застил покрывалом бурым...
Но хмурый инженер с Магнитогорки
мне не казался ни чужим, ни хмурым...

И я узнала, кажется, майора.
Не он ли раненый лежал в палате?
Я спутницу узнала по узору
на немудреном бумазейном платье,

по медным косам, заплетенным туго,
и по румянцу на девичьей коже...
Ведь это школьная моя подруга...
А впрочем, нет... Но до чего похожа!

А непогодь не уставала злиться.
Секла по стеклам струйками косыми...
Потом немолодая проводница
рассказывала о погибшем сыне,

о старшей дочке, о внучонке Пете...
И все так близко, дорого, знакомо...
Пути-дороги... Бесприютный ветер...
А нам тепло. А мы — повсюду — дома.

РОДИНА

Четыре недели у нас на глазах
с солдатскою жизнью прощался казах.
Лежал он истаявший, серый, как дым,—
как быть нам, что делать с таким молодым?
Ему говорю: — Поправляешься, друг,—
а он догорает, почти что потух.
А рядом капли гремит перестук,
с рассвета горланит соседский петух,
а в лужах такая лежит синева,
заглянешь — кружиться пойдет голова,
заглянешь — и сердце сожмется до слез:
и кто ж это радость такую принес?
— Ты, может быть, хочешь поближе к окну?
Дай ноги прикрою, в халат заверну.
А может, налить тебе чаю еще?
А может быть, снова заныло плечо?
— Спасибо, сестра, ничего не хочу.
Я лучше один полежу, помолчу.—
Тогда говорю я: — Будь ласков, скажи:
а верно, что степи у вас хороши?
Что ранней весною в тюльпанах они,
что красные маки в степи, как огни?—
И так у него засияли глаза,
как будто на них набежала слеза,
и темный румянец пошел по лицу,
как будто бы жизнь воротилась к бойцу.
И, сжав мои пальцы в бессильных руках,
привстал он и начал рассказывать мне
единым дыханьем, на двух языках,
о лучшей на свете своей стороне.
В палату хирург приходил и ушел,
пришла санитарка и вымыла пол,
и смерклось; и стала багровой заря...
Я, видно, солдата спросила не зря,

уснувшее сердце его бередя.
Я слышала, скрипнула дверь в коридор —
то смерть притворила ее, уходя...
На этом мы с ней и покончили спор.

.

Наш поезд стоит на разъезде в степи.
Тюльпаны, тюльпаны, куда ни ступи,
как смуглый румянец казахской весны,
под небом невиданной голубизны.
Так вот он какой, твой край дорогой,
сияющий, ветренный, знойный, нагой...
Когда же поднимется солнце в зенит,
сыпучий песок зашуршит, зазвенит,
о капле единственной небо моля,
иссохнут тюльпаны и маков моря,
и выгорит небо почти добела,
и дали завесит багровая мгла.

.

Но мимо платформы шагают друзья,
кудрявые сажены в ведрах неся,
идут комсомольцы. И значит — война
за степь, чтоб всегда зеленела она.
Чтоб хлебом и хлопком густым проросла
земля, что солдата от смерти спасла.
Я знаю — он здесь, в этих жарких песках,
и снова в бою, и опять впереди...
Как друга обнять бы его, отыскав.
Хоть слово сказать...
Да попробуй найди.

Промчался товарный. Потом через миг
флажком полинялым махнул проводник.
И снова: сыпучих барханов ряды,
в струящемся мареве призрак воды,
и снова и снова, куда ни ступи,
тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны в степи.

НА РАЗЪЕЗДЕ ЧУМЫШЕ

Соль в степи, как полуда,
и на солнце рыжея,
выгибают верблюды
лебединые шеи...
Небо выше да выше,
дали шире да шире,
на разъезде Чумыше
две юрты небольшие.
Хлевушок из самана,
будто в шутку слепили...
Голубые барханы
Чумыш обступили.
А меж серой колючки
быстрых ног отпечатки,
в смуглой маленькой ручке
карандаш и тетрадки.
Ребятишки из дому
торопятся в школу...
Это только чужому
здесь пустынно и голо.
Это только чужому
не близко, не мило
все, что с детства
ребячья душа полюбила.
А в Москве еще сладко
спится вашей подружке.
Темно-русые прядки
разбрелись по подушке...
Еще солнце в дороге,
еще ночь на пороге,
у кровати в порядке —
карандаш и тетрадки.
Дождь холодный, осенний
барабанит по крыше...

...Что за синие тени
на разъезде Чумыше?
И бегут на занятия
девчонки, мальчишки,
полосатые платья,
цветные штанишки...
Вьется тропка по склону
от разъезда до школы.
Это только чужому
здесь пустынно и голо!

РАЗЛУКА

За дугою виадука,
за щетиною леска
начинается разлука,
беспокойная тоска.

Сосны кружатся враскачку,
искры гаснут на лету...
Грозной башней водокачка
отплывает в темноту.

Встречный поезд на разъезде
нас приветствует гудком,
добродушные соседи
угощают кипятком.

И колхозница-старушка
(не живетя без забот)
мне домашнюю ватрушку
на ладони подает...

Мы летим родной страной
пять ночей, четыре дня...
Очень ласкова со мною
вся дорожная родня...

А тоске не видно края.
За окном густеет тьма...
До зари перебираю
строки первого письма.

Нахожу за словом слово,
теплотою их дышу,
я тебе письма такого
никогда не напишу.

Грусть моя тебя встревожит,
опечалит, может быть...
И притом в дороге может
слово жаркое остыть.

Я открытку лучше брошу
где-нибудь тебе в пути:
дескать, помню, мой хороший.
будь здоров и не грусти.

Вот и все. Качает очень,
и к тому ж неярк свет...
...Тает, тает у обочин
дыма стелющийся след.

Застилает белым дымом
версты, годы, города...
Но любимые к любимым
возвращаются всегда!

СТАНЦИЯ БАЛАДЖАРЫ

Степь, растрескавшаяся от жара,
не успевшая расцвести...
Снова станция Баладжары,
перепутанные пути.
Бродят степью седые козы,
в небе медленных туч гурты...
Запыхавшиеся паровозы
под струю подставляют рты.
Между шпалами лужи нефти
с отраженьями облаков...
Нам опять разминуться негде
с горьким ветром солончаков.
Лязг железа, одышка пара,
гор лысеющие горбы...
Снова станция Баладжары
на дороге моей судьбы.
Жизнь чужая, чужие лица...
Я на станции не сойду.
Улыбается проводница:
— Поглядите, мой дом в саду! —
В двух шагах низкорослый домик,
в стеклах красный, как медь, закат,
пропыленный насквозь тутовник...
(А она говорила — сад.)
Но унылое это место,
где ни кустика нет вокруг,
я глазами чужого детства
в этот миг увидала вдруг,
взглядом девушки полюбившей,
сердцем женщины пожилой...
И тутовник над плоской крышей
ожил, как от воды живой.

САПЕР

Кончив работу,
он сел на крыльцо,
вытер от пыли и пота
лицо.
Вынул потертый кисет из кармана,
тот, что в последнем счастливом году
сшила рязанская девушка Анна
и подарила у всех на виду.
Годы счастливые
снова вернутся,
годы разлуки
подходят к концу...
В ковшике медном
солдатка Ануца
теплую воду выносит
бойцу.
Пьет он и думает:
как это странно,
что в разоренном молдавском дому
девушка Анна, девушка Анна
вдруг издали улыбнулась ему.
В старенькой кофте с разводами пестрыми,
в копоти черной и белой пыли...
Как же назвать вас, если не сестрами,
верные женщины нашей земли!
Тихая улица — пепел да щебень,
позднее лето, ни облака в небе,
щедрый и праздничный свет...
Клен, собирающий солнце в ладони,
и непросохшая надпись на доме:
«Мин
в доме
нет».

ПРОЩАНИЕ

День осенний... день ненастный,
тучи, тучи без конца...
Вдоль дорог шиповник красный
от Страшен до Быковца.

В камыше туманы ткутся,
как в дыму холмов валы...
По шоссе влекут каруцы
флегматичные волы...

И когда летит трехтонка,
вся в пыли, за поворот,
жмется жалобно в сторонку
устаревший транспорт тот.

В кукурузе бродит ветер,
косы желтые трепля...
Листья с шорохом на грейдер
осыпают тополя...

Ах, Молдавия, Молдова,
всей душой люблюя,
как же я останусь снова
без хорошей без тебя?

Как же нам с тобой проститься,
если натвердо не знать,
что весной с зимовья птицы
возвращаются опять?!

Разлетается по склонам
лета мертвая краса...
Фрунзе верде — лист зеленый —
от души оторвался!

ОСЕНЬ В ЛАТВИИ

На море вода похолодела,
кажется тяжелой и литой...
И на узенькую Юрас-иела
льется с вязов ливень золотой.
Посмотри, как рассветает поздно,
как становится с недавних пор
все грознее по ночам беззвездным
ветра нарастающий напор...
А наутро замолкают сосны,
белки верещат над головой,
море светит синью купоросной,
воздух дышит пылью штормовой.
Рыбаки просушивают сети,
дюны ослепительно белы,
смуглые, обветренные дети
чайками взлетают на валы.
Пахнет морем, яблоками, хвоей,
над селеньями перпатый дым...
Все труды оплачены с лихвою —
свежим хлебом, медом молодым.
Хорошо здесь осенью, и все же
не могу я больше ждать ни дня:
там, в Москве, тоску мою тревожа,
осень наступает без меня...
Мост крылатый, парк полиловелый,
кручи башен над Москвой-рекой.
.....
Прохожу я тихой Юрас-иела,
в переводе — улицей Морской.

ИЗ ОКНА ВАГОНА

В сугробы осыпая блески,
мерцающая пылью ледяной,
белоголовые березки
перебегают под луной.
Они повергнуты в смятение
и перепуганы до слез...
Их светло-дымчатые тени
шарахаются под откос.
А ели — те стоят спокойно,
лесной, задумчивый народ,
и смотрят из-под шалей хвойных
вдогонку вполупорот...
А по обочинам выбучим,
почти у насыпи рябой,
кусты, ушанки нахлобучив,
бегут за поездом гурьбой.
А паровоз свистит и дразнит:
мол, не догонишь, не спеши...
Наверно, нынче зимний праздник
справляется в лесной глуши.
Там все в серебряном тумане,
в лиловом ледяном огне,
и, верно, где-то на поляне
танцуют зайцы при луне.
Пойти туда бы, покружиться
по хитрой заячьей тропе,
но только отсветы, как птицы,
влетают в темное купе
и между спящими с опаской
кружат, пока не рассветло,
и над моей постелью тряской
роняют светлое перо.

МЫ ПРАЗДНИК ВСТРЕЧАЛИ В ДОРОГЕ

Мы праздник встречали в дороге,
декабрьской студеною ночью,
в седых оренбургских степях...
Мы мчались вдоль скатов пологих,
и пара кудлатые клочья
цеплялись за снег второпях.

Мы праздник встречали в дороге.
Мы песни хорошие пели,
мы пили вино из стаканов
и рюмок плохого стекла...
Мы были одними из многих,
которых вот так же качало,
которых такая же сила
по дальним дорогам влекла.

Почти незнакомые люди,
пришли мы друг другу на помощь,
и каждый старался соседа
утешить, что, мол, не беда,
что все еще в будущем будет,
и что новогодняя полночь
с веселой и дружной беседой
в пути хороша иногда!

Мы мчались сквозь полночь и вьюгу,
мы мчались в шипенье и гуде
колючей уральской зимы...
Мы счастья желали друг другу —
почти незнакомые люди,
почти незнакомые люди,
друг в друга поверили мы.

Свистки улетали далече...
Мы пели, смеялись, молчали,
мечтали при свете неярко,
в вагоне, продутом насквозь...
И был этот праздничный вечер
моим новогодним подарком,
а счастье, что мне пожелали,
тотчас по приезде сбылось!

НОРД

Горизонт туманом полустерт —
это предвещает непогоду...
Третьи сутки оголтелый норд
гонит в Каспий скомканную воду.
В три дуги сгибает деревца,
крутит пыль, крушит с налета стекла...
Ветер, ветер, нет ему конца,
пухнут веки, в горле пересохло...
В это время ни души живой
на Приморском не найдешь проспекте.
Только ветра непрестанный вой,
только запах пыли, роз и нефти...
Только бухта в мачтовых огнях,
город, круто уходящий вправо,
только память о минувших днях,
днях, когда рождалась наша слава.

А на самой дальней буровой,
где-нибудь у острова Артема,
парень с непокрытой головой,
оглушенный скрежетом и громом,
задыхаясь в водяной пыли,
в этот час спокойно и умело
за семь километров от земли
делает свое простое дело.
Фонаря летящий огонек,
четкие короткие движенья...
А ему, наверно, невдомек,
что сейчас он выиграл сражение.
Он в бою сегодня, как вчера,
с ветром,
с морем,
с временем,
с железом...

Он от суши начисто отрезан —
третий день не ходят катера,
оттого, что разгулялся норд,
празднуя приход весны в столицу...
Черный город в дымке распростерт...
Этой ночью никому не спится,
так необычайно хороша,
без огней, без яркого убранства,
рвущаяся в пенное пространство
города мятежная душа.

БЕССОННИЦА

Кряхтели рамы, стекла звякали,
И все казалось мне:

вот-вот

уснувший дом сорвется с якоря
и в ночь, ныряя, поплывет.
Луна катилась между тучами,
опутанная волокном,
как мачта,

дерево скрипучее
раскачивалось под окном.
Давным-давно легли хозяева,
огонь погас.

А сна все нет.

И заманить ничем нельзя его.
И долго мешкает рассвет.
От окон тянет острым холодом,
и хорошо и страшно мне.
Все крепко спят.

И с грозным городом
я остаюсь наедине.
Наш углый дом по ветру носится,
раскачивается сосна...
И до чего ж она мне по сердцу,
азербайджанская весна!

МОРЯНА

Из чуть голубоватого тумана
всплывает Нарген розовой стеной...
С утра задула крепкая моряна
и точит камни острою волной.
Гудит гудок, и второпях проходит,
фырча и дым по ветру расстелив,
залатанный, чумазый пароходик,
навеселе вернувшийся в залив.
Идут валы как будто в белых перьях,
крепчает ветер, влажный и тугой,
а под ногами раскаленный берег,
великолепно выгнутый дугой...
Теперь как будто вылеплен из воска,
далекий Нарген — кучка желтых сот...
Давным-давно пришел из Красноводска
слепающий мокрым лаком теплоход.
Шумит, шумит соленая моряна,
шумит, не утихая ни на миг...
Мне кажется, тяжелый зной Ирана
сюда с потоком воздуха проник.
Мне кажется, тусклее небо стало,
а ветер горячий и солоней...
Вчера я эту девушку видала.
И — как умела — говорила с ней.
Она была красивою и стройной.
Она была по-южному смугла.
Она была почти совсем спокойной
и только улыбнуться не смогла.
Без узелка, без паспорта, без визы
три дня назад она пришла сюда,
и дороги ей улицы Тавриза,
как нам родные наши города.
Но все еще звучат в ушах угрозы,
рыданья, стоны, выстрелы кругом...

И Саади прославленные розы
раздавлены солдатским сапогом.
Чужие лица, говор иностранный...
Сестра моя, всем сердцем мы с тобой!
Шумит, шумит соленая моряна
над нераздельной нашею судьбой.
И на земле трепещет тень инжира,
и детский смех подобен ручейку,
и мимо нас идут солдаты мира,
твои друзья — рабочие Баку.

ПУТЬ К РУДЕ

Дорога выбита в горах,
дорога выгрызена в скалах...
Река сквозь каменистый прах
что день, то новый путь искала.
То растекалась между глыб,
то собиралась воедино...
Столетия, верно, не могли б
такие горы с места сдвинуть.
Река ломилась напролом,
летела в грохоте и мыле,
над искристым ее крылом
ветвящиеся тени плыли.
Старик платан, оторопев,
в воде по пояс брел по круче...
Потом реки внезапный гнев
сменялся радугой летучей,
и под навесом легких лоз
она струила зыбь рябую,
пока ей в русло довелось
на день прилечь, до новой бури.
Какое дело до реки
рабочим, пыльным и усталым?
Они опять несут мешки
с кирпично-красным аммоналом.
У них характер слишком крут
и удивительные руки...
Они, как паутину, ткут
над пропастями виадукки.
А над рудой — броня веков,
твердым-тверда ее защита:
над ней пласты роговиков
тупят сверло из победита.

И смуглолицый Михбали,
забыв Мугани край привольный,
весь в пухлой буровой пыли,
не покидает узкой штольни.
По-детски горд своею властью,
он рушит горные пласты,
впервые постигая счастье
осуществления мечты!

ПИСЬМА

Долго ли испытывать терпенье?

Долго ли —

опять,

опять,

опять —

пыльные, истертые ступени,

очередь к окошку «номер пять»?

Пачки писем в узловатых пальцах,

равнодушный шелестящий звук...

Письма — эти вечные скитальцы —

ждут других, гостеприимных рук.

И, быть может, долгими ночами,

за семью печатями, в тиши,

тяжело вздыхают от печали

чьей-нибудь непонятой души!

В семь часов окно должно закрыться.

Завтра в девять — отвориться вновь...

В белых треугольниках томится

не востребованная любовь.

Я взяла бы вас и отогрела,

обо всем бы выслушала я.

Только нету до меня вам дела,

если вы искали не меня!

...У окошка с полукруглой рамкой,

где от ламп зеленоватый свет,

седовласая азербайджанка

мне привычно отвечает: — Нет. —

Выхожу, иду на берег к морю,

где в мазутных лужицах земля,

и смотрю, смотрю, как за кормою

пенился дорога корабля,

как на мачте сонный парус виснет

и, спеша в далекие края,

мчатся чайки...

Белые, как письма.

Неручные, как любовь твоя!

АРЫК

Глаз к сиянью такому еще не привык...
Зной густой, золотой и тягучий, как мед...
А за домом, в саду,

пробегает арык,
как живой человек,

Он струится, как будто в ущелье
 говорит и поет.

 зажат,
меж забором и каменной пестрой стеной.
Распахнется калитка...

Лучи задрожат...

Засмуглеет рука...

Брызнет звон жестяной.

С мягким бульканьем вглубь окунется кувшин,
И опять тишина.

Он один ни на миг
не стихает, сбегая с далеких вершин,
торопливый арык,
говорливый арык...

В нем вода холодна и молочно-бела,
и, как лента из шелка, упруга в горсти...

С первой встречи я сердце ему отдала.

Пели птицы в саду:

«Не спеши, погости».

Счастье ходит со мной по дороге любой...

А покой...

А покоя не будет нигде.

В час, когда занимался рассвет голубой,
я пришла попрощаться к ханларской воде.

СТИХИ О СЧАСТЬЕ

ГОЛУБИ

Тусклый луч блестит на олове,
мокрых вмятинах ковша...
Чуть поваркивают голуби,
белым веером шурша.
Запрокидывают голову,
брызжут солнечной водой,
бродят взад-вперед по желобу
тропкой скользкой и крутой.
Бродят сонные и важные,
грудки выгнуты в дугу,
и блестят глаза их влажные,
как брусника на снегу.
Сад поник под зноем пярющим,
небо — синьки голубей...
— Ты возьми меня в товарищи,
дай потрогать голубей. —
Верно, день тот был удачливым —
ты ответил: — Ладно, лезь... —
Дребезжать ступеньки начали,
загремела гулко жечь...
Мне расти мальчишкой надо бы —
у мальчишек больше льгот...
А на крыше — пекло адово,
сквозь подошвы ноги жжет.
Целый час с тобой стояли мы
(неужели наяву?),
птицы в небо шли спиралями,
упирались в синеву...
Воркованье голубиное,
смятый ковш, в ковше — вода...
А часы-то в детстве длинные —
и такие же года.
Кто их знал, что так прокатятся,
птичьей стайкой отсверкав...
Я ли это — в белом платье,
с белым голубем в руках?

ТИШИНА

Двое шли и ссорились.
А ночь
голубела празднично и хрупко.
Двое шли и ссорились.
Уступка
не могла уже ни в чем помочь.
Их несправедливые слова
раздавались явственно и гулко.
А в несчетных лужах переулка
залегла такая синева,
словно небо в них перелилось...
В каждой синяя луна лежала,
в каждой облако, дымясь, бежало,
тонкое и светлое насквозь.
Пахло глиной и древесным соком,
холодом нестаявшего льда.
Шелестела зябкая вода,
торопясь по звонким водостокам.
Мир лежал торжественный такой
и необычайно откровенный.
Он бы выдал тайны всей вселенной,
но под равнодушной ногой
разлетелась вдребезги луна,
облако тонуло,
и на части
хрупкая дробилась тишина...
И никто не вспомнил, что она —
тоже счастье.
И какое счастье!

* * *

Мне сказали — ты в городе Энске живешь.
Очень занят работой и встречи не ждешь.

Я хожу по Москве, майским ветром дышу,
ни открыток, ни писем тебе не пишу.

И хотя ты расстался со мной не любя,
но молчанье мое огорчает тебя.

И представь — на булыжной чужой мостовой
вдруг лицом бы к лицу мы столкнулись с тобой.

Ты подумал бы: чудо!

А вовсе и нет —

просто я на курьерский купила билет

или села во Внукове на самолет,
а до Энска четыре часа перелет.

Как тебя обняла бы я, друг дорогой!

Только в Энск никогда не ступлю я ногой,

никогда я на поезд билет не куплю,
никогда не скажу тебе слово «люблю».

Ты сейчас от меня так далек, так далек —
никакой самолет долететь бы не мог.

ОЖИДАНИЕ

Непреодолимый холод...
Кажется,дохнешь — и пар!
Ты глазами только молод,
сердцем ты, наверно, стар.

Ты давно живешь в покое...
Что ж, и это благодать!
Ты не помнишь, что такое,
что такое значит
ждать!

Как сидеть, сцепивши руки,
боль стараясь побороть...
Ты забыл уже, как звуки
могут жечься и колоть...

Звон дверных стеклянных створок,
чей-то близящийся шаг,
каждый шелест, каждый шорох
громом рушится в ушах!

Ждешь — и ни конца, ни края
дню пустому не видеть...
Пусть не я,
пускай другая
так тебя заставит ждать!

* * *

Биеенье сердца моего,
тепло доверчивого тела...
Как мало взял ты из того,
что я отдать тебе хотела.
А есть тоска, как мед сладка,
и вянущих черемух горечь,
и ликование птичьих сборищ,
и тающие облака...
Есть шорох трав неутомимый,
и говор гальки у реки,
картавый,
не переводимый
ни на какие языки.
Есть медный медленный закат
и светлый ливень листопада...

Как ты, наверное, богат,
что ничего тебе не надо!

ССОРА

Вечер июльский томительно долог,
медленно с крыши сползает закат...
Правду сказать —
как в любой из размолвок,
я виновата,
и ты виноват.

Самое злое друг другу сказали,
все, что придумать в сердцах довелось,
и в заключение себя наказали:
в комнатах душных заперлись врозь.

Знаю, глядишь ты печально и строго
на проплывающие облака...
А вечеров-то не так уже много,
жизнь-то совсем уж не так велика!

Любят друг друга, пожалуй, не часто
так, как смогли мы с тобой полюбить...
Это, наверно, излишек богатства
нас отучил бережливыми быть!

Я признаю самолюбье мужское.
Я посягать на него не хочу.

Милый! Какая луна над Москвою...
Милый, открой, —
я в окно постучу.

ПРОЩАНИЕ

Чемодан с дорожными вещами,
скудость слов, немая просьба рук...
Самое обычное прощанье,
самая простая из разлук.

На вокзалах плачут и смеются
и клянутся в дружбе и любви...
Вот и ты, стараясь улыбнуться,
говоришь:

— Смотри не разлюби!

Ну к чему, скажи, тревоги эти?
Для чего таким печальным быть?
Разве можно позабыть о свете
или, скажем, воздух разлюбить?

У тебя глаза совсем больные.
Улыбнись. Не надо так, родной...
Мне ведь тоже в ночи ледяные
нестерпимо холодно одной.

Шум, свистки, последние объятья,
дрогнули сцепленья, зазвения...
До свиданья! Буду очень ждать я!
Только ты...

не разлюби меня.

ОСЕНЬ

Как желтые звезды, срываются листья
и гаснут на черной земле...
А небо все ниже,
а вечер все мгlistей,
заря — будто уголь в золе.

Вот первый огонь засветился во мраке,
грачи на березах кричат...
Далеко за речкою лают собаки
и слышатся песни девчат.

Гуляет, поет молодое веселье,
вздыхает влюбленный баян...
А из лесу сыростью тянет и прелью,
ползет по ложине туман...

И кажется мне, что над Соротью где-то,
в холодном белесом дыму,
такая же ночь приходила к поэту
и спать не давала ему.

* * *

Не отрекаются, любя.
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
а ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга,
когда припомнишь, как давно
не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
не полюбившейся когда-то,
что переждать не сможешь ты
трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там...
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам...
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,
и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери.

* * *

Мы шли пустынной улицей вдвоем
в рассветный час, распутицу кляня.
И, как всегда, под самым фонарем
ты вдруг решил поцеловать меня.

А нам с тобой навстречу в этот миг
веселые студенты, как на грех...
Мы очень, видно, рассмешили их —
так дружно грянул нам вдогонку смех.

Их разговор примерно был таков:
— Видали вы подобных чудаков?
— И впрямь чудаки, ведь он не молод... — Да,
но и она совсем не молода!

Ты сердишься за дерзкие слова?
Но что же делать — молодежь права.
Попробуй на меня когда-нибудь
пристрастным взглядом юности взглянуть.

Давай простим их неуместный смех:
ну где ж им знать, что мы счастливей всех?
Ведь им прожить придется столько лет,
пока поймут, что старости-то нет!

У ИСТОЧНИКА

Тягучий жар на землю льется,
томят извилины пути...
К артезианскому колодцу
бежит ребенок лет шести.

На цыпочки на камне белом
приподымаясь на краю,
губами ловит неумело
тугую, круглую струю.

Она дугой взлетает звонко,
спеша в орешник молодой,
и пересохший рот ребенка
едва целуется с водой.

И у меня судьба такая,
и я к источнику бегу.
Мне счастье бьет в лицо, сверкая,
а я напиться не могу!

ЗЕРКАЛО

Все приняло в оправе круглой
нелицемерное стекло:
ресницы; слепленные вьюгой,
волос намокшее крыло,

прозрачное свечение кожи,
лица изменчивый овал,
глаза счастливые... все то же,
что только что
ты целовал.

И с жадностью неутолимой,
признательности не тая,
любуюсь я твоей любимой...
И странно мне,
что это... я.

* * *

Дремлет стужа, сок из веток выжав,
в чащах спят, умаявшись, ветра.
Хочешь, завтра в лес пойдем на лыжах?
Хочешь, выйдем из дому с утра,
в час, когда еще нельзя взглядеться
в нерассветший дымчатый простор?..
Мы заглянем по дороге в детство,
на опушке разведем костер,
станем греться рядом, на снегу...
Ты не говори мне:
«Не могу».
Ты не вздумай намекать на старость —
слова нет такого в словаре...
Если вправду мало жить осталось,
надо выйти раньше...
На заре...

СЧАСТЬЕ

К ночи грязь на дорогах звонка и тверда.
Небо — сине-зеленое, точно вода.
В небе плавает месяц, подобно блесне...
Я давно не писала стихов о весне.
Не писала стихов о тебе, о себе,
о такой удивительной нашей судьбе.
Люди в юные годы, в такие вот дни,
друг без друга не в силах остаться одни.
Им сердца в одиночестве
мучает грусть...
Оглянусь я на прошлое — и улыбнусь:
тишина в подмосковном ночном городке,
и совсем я одна, от тебя вдалеке,
только в сердце моем столько света сейчас,
столько сказанных, столько несказанных фраз,
столько радости прошлых и будущих лет,
что для грусти в нем попросту площади нет.
Слишком корни у счастья теперь глубоки,
чтоб апрельские гнули его ветерки!

Дарина Кухер
1956

ОПОЗДАЛИ НА ДАЧНЫЙ

Опоздали на дачный...
Ну что же такого?
Я до ночи с тобой
ждать готова.
Ты сидишь на скамейке,
унылый и злой.
От тебя не дожидаться
улыбки былой.
Хоть бы вымолвил слово,
погладил бы руку...
До чего же ты скоро
к покою привык!
Разве ты позабыл,
что такое разлука?
Как он краток,
прощанья безжалостный миг?
Ну, попробуй, представь:
расстаемся с тобою.
Вместе быть нам отпущено
час или два.
На меня ты глядел бы
с какою любовью,
для меня ты нашел бы
какие слова!
Опоздали на дачный...
Ну что же такого?
Даже рада, пожалуй, я,
честное слово!
На пустынной платформе,

на жесткой скамье
этим вечером
столько припомнилось мне...
Заметенные шпалы,
окошки во льду...
Шел в Ташкент эшелон
в сорок первом году.
Шел туда,
где за вьюгой светал горизонт...
А другой эшелон
отправлялся на фронт.
Время грозных разлук...
Вот когда,
вот когда
расставанье хотелось продлить
на года.
Это с нами ведь было,
мой друг дорогой!
Я ж теперь не другая,
и ты не другой.
Кинь скорее оттуда,
из прошлого,
взгляд, —
двое дачников
поезда ждать не хотят!

НОЧЬ

Как душно и тесно в вагонном плену!
Но я духоты, тесноты не клянусь...
Срываются версты,
качаются звезды,
играет, гуляет гармошка в Клину.
Кивает огнями далекий уют,
кузнечики в поле спросонья куют,
ночная прохлада,
чужая отрада.
Нам здесь оставаться пятнадцать минут.

Нам колокол дважды прикажет:
«Пора!»
И лягнут сомкнувшиеся буфера,
очнется граненый стакан в подстаканнике,
со звоном отчаянным затрепыхав,
кусты врассыпную шарахнутся в панике,
с обрывками пара на тонких руках...
И свист рассекает их ударом ножа,
а ветер закружит и бросит в пространство,
и примутся стекла — пример постоянства —
в расшатанных рамах плясать, дребезжа.

Мой спутник молчит,
с головою укрыт,
наверное, спит,
а может, не спит,
а может, как я, с духотой не в ладах,
томится, с бессонницей не совладав.
Какое мне дело!
Мне знать ни к чему...
Своей я тревоги никак не уйму.
Что там за окошком:

платформы ли, дамбы ли,
мосты ли кидаются в дымную мглу?
В холодном, продутом, грохочущем тамбуре
я лбом прислонюсь к ледяному стеклу.

Летят закругленья,
вагоны креня,
ночные селенья,
нигде ни огня,
ночные просторы,
нигде ни огня...
Как встретит твой город
назавтра меня?

Печаль или радость?
Любовь или ложь?
А вдруг не захочешь?
А вдруг не придешь?
А вдруг это просто придумано мной?

...В болотцах рассвет голубой пеленой...
Пусть мысли, как версты, уносятся прочь,
ведь что б ни случилось, теперь не помочь.
О, только бы, только бы, только бы длилась
вот эта на счастье похожая ночь!

* * *

А ведь могло бы случиться так,
что оба,
друг другу предназначены судьбой,
мы жизнь бок о бок
прожили б до гроба
и никогда не встретились с тобой.
В троллейбусе порой сидели б рядом,
в киоске покупали бы цветы,
едва заметив мимолетным взглядом
единственно любимые черты.
Чуть тяготясь весенними ночами,
слегка грустя о чем-то при луне,
мы честно бы знакомым отвечали,
что да,
мы в жизни счастливы вполне.
От многих я слыхала речи эти,
сама так отвечала, не таю,
пока любовь не встретила на свете
единственно возможную —
твою!
Улыбка, что ли, сделалась иною,
или в глазах прибавилось огня,
но только —
счастлива ли я с тобою? —
с тех пор никто не спрашивал меня.

Память сердца

1958

О память сердца! Ты сильней
рассудка памяти печальной...

К. Батюшков

* * *

Пусть мне оправдываться нечем,
пусть спорны доводы мои, —
предпочитаю красноречью
косноязычие любви.

Когда волненью воплотиться
в звучанье речи не дано,
когда сто слов в душе родится
и не годится
ни одно!
Когда молчание не робость,
но ощущение того,
какая отделяет пропасть
слова от сердца твоего.

О сердце, склонное к порывам,
пусть будет мужеством твоим
в поступках быть красноречивым,
а в обожании — немым.

И что бы мне ни возразили,
я снова это повторяю.
...Прости меня,
моя Россия,
что о любви
не говорю.

ДОМ В ЛЕСУ

Стены старые из бревен,
в смоляных густых слезах.
Словно плюш потертый, темен
мох, прижившийся в пазах.
Лес вплотную у окошек,
листьев смутный разговор,
возле лампы тучи мошек,
комаров жестокий хор.
Да картошка без приправы,
испеченная в золе,
да грачиный ор картовый
в черных гнездах, на заре.
Первый взгляд — смущенный, милый,
первой нежности тоска...
Помнишь, школьница гостила
в тихом доме лесника?
Щеки нам огонь горячий
заливал порой до глаз.
Твой отец, улыбку пряча,
избегал смотреть на нас.
Было так... Давно когда-то...
Это все напомнил мне
свет вишневого заката
на бревенчатой стене,
мошканы вечерний танец,
запах сена из сеной
и предательский румянец
семиклассницы моей.
Помнишь — лето, два подростка,
лес, овраги да холмы...
Помнишь дом у перекрестка,
где простились с детством мы?

ТВОЯ УЛИЦА

Мне каждый кустик мил на ней
и каждый камень...
А бывало,
я шла по улице твоей
и ничего не замечала.
Был сад как сад,
и дом как дом,
а ты входил в его ворота,
обедал, спал, работал в нем,
кого-то ждал,
любил кого-то.
Да что лукавить!
Это я
тогда тебе ночами снилась.
Ты «фотокором» снял меня,
и я в столе твоём хранилась.
Ты мне натачивал коньки,
чинил ремни, забыв усталость,
все это смыслу вопреки:
я на коньках
с другим каталась.
С другим я шла на школьный бал,
сидела на футбольном матче,
а ты вздыхал, и ревновал,
и молча мне решал задачи.
А если в дождь являлась я,
ворчал, встречая на крылечке:
— С ума сошла! Промокла вся! —
И башмаки сушил на печке.
А наступал зеленый май,
ты, грустных глаз не подымая,
мне сухо говорил:
— Давай
сирени, что ли, наломаю. —

И мне огромный сноп вручал,
тугой, благоуханный, мокрый...
И улыбался.
И молчал,
опасливо косясь на окна.

.

Был сад как сад
и дом как дом...
Крыльцо... Над крышею антенна...
Да, жаль, мы поздно узнаем
любви действительную цену.
Навряд ли кто любил меня
так бескорыстно,
так отважно...
Стоит, ступеньки накрена,
домишко твой
одноэтажный.
На днях его должны снести —
здесь будет здание вокзала.
Послушай,
ты меня прости!
Ах, если б юность больше знала!
А впрочем,
если бы и знать
и если б жить начать
опять,
все повторилось бы
сначала!

НЕПОГОДА

Нас дождь поливал
трое суток.
Три дня штурмовала гроза.
От молний ежеминутных
ломить начинало глаза.
Пока продолжалась осада,
мы съели пуды алычи.
За нами вдогонку из сада,
как змеи, вползали ручьи.
А тучи шли тихо, вразвалку,
и не было тучам конца...
Промокшая, злая чекалка
визжала всю ночь у крыльца.
Опавшие листья сметая,
кружились потоки, ворча,
лимонная и золотая
купалась в дожде алыча.
И, превознося непогоду,
от зноя живая едва,
глотала небесную воду
привычная к жажде трава.
Вот так мы и жили без дела
на мокрой, веселой земле,
а море свирепо гудело
и белым дымилось во мгле.
Домишко стоял у обрыва,
где грохот наката лютей,
и жило в нем двое счастливых
и двое несчастных
людей.
Ты мне в бесконечные ночи
с улыбкою (благо темно!)
твердил, что, конечно, на почте
лежит телеграмма давно.

Что письма затеряны, видно,
твердил, почтальонов вина.
И было мне горько и стыдно,
что ты утешаешь меня.
И я понимала отлично,
что четко работает связь,
что письма вручаются лично,
открытки не могут пропасть...

Однажды, дождавшись рассвета,
с последней надеждой скупой
ушла я месить километры
лиловой размякшей тропой.
Ушла я вдогонку за счастьем,
за дальней, неверной судьбой...
А счастье то было ненастьем,
тревогой,
прибоем,
тобой.

МОЛНИЯ

На пасмурном бланке короткие строчки:
«Не жди. Не приеду. Целую. Тоскую».
Печатные буквы, кавычки да точки —
не сразу признаешь в них руку мужскую.

Обычно от молнии хочется скрыться,
бывает, она убивает и ранит...
Но это не молния — просто зарница.
За такой молнией грома не грянет.

«Не жди. Не приеду»...
Какое мне дело!
«Целую. Тоскую»...
Какое мне горе!
И впрямь, вероятно, гроза отгремела,
ушла стороною за синее море.

ВОСПОМИНАНИЕ

Мне жаль голубого приморского дня
с персидской сиренью, горячей и пряной,
с бушующим солнцем,
соленой моряной;
мне жаль этой встречи, короткой и странной,
когда ты подумал, что любишь меня.
Дымясь и блеща, закипали буруны,
чернели на рейде тела кораблей...
За нами пришла краснокрылая шхуна,
но мы не рискнули довериться ей.
Кричала сирена в порту, как тревога,
и стонущий голос по ветру несло...
Цыганка сказала: — Печаль и дорога... —
Такое у них, у цыган, ремесло.
Цыганка лукавая и молодая
взяла твою руку:
— А ну, погадаю! —
Но ты побоялся ее ворожбы,
ты думал, что можно уйти от судьбы!
Попробуй уйди...
Полустанок осенний,
печаль и смятение последних минут...
Ни просьбы, ни слезы, ни ложь во спасенье
уже не тебя, ни меня не спасут.
Но даже теперь, в таком расстройстве,
случается вдруг, и тебя и меня
в летящих ночах настигает сиянье
того, голубого, приморского дня.

* * *

Открываю томик одинокий —
томик в переплете полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Я не знаю, для кого писал он.

Пусть он думал и любил иначе,
и в столетьях мы не повстречались...
Если я от этих строчек плачу,
значит мне они предназначались.

* * *

К земле разрыхленной припал он,
ловя подземный сладкий ток...
Еще довольствуется малым
прогрызший семечко росток.
А уж над ним с утра до ночи
и после, с ночи до утра,
дожди таинственно хлопочут,
колдуют птицы и ветра...
Он кверху тянется.

Нигде так
не виден неумный рост...
Он вымахнул до нижних веток
и хочет вырасти до звезд!
Он всех развесистей и выше
среди родных своих дубрав,
но что ни год — смирней и тише
его неукротимый нрав.
Еще он крепкий и красивый...
Звезда теперь совсем близка...
Но в нем уже иссякли силы
первоначального броска.
Так и застыл он на столетья
на прерванном своем пути,
и шумные лесные дети
спешат отца перерастить!

* * *

Молодость... Старость...
Привычно, знакомо.
А я бы делила жизнь
по-другому:
я на две бы части ее делила,
на то, что будет,
и то, что было.
Ведь жизнь измеряют —
знаете сами —
когда годами,
когда часами.
Знаете сами —
лет пять или десять
минуте случается перевесить.
Я не вздыхаю:
о, где ты, юность!
Не восклицаю:
ах, скоро старость!
Я жизни вопрос задаю, волнуясь:
что у тебя для меня осталось?
Припоминаю я все, что было,
жизнь пересматриваю сначала,
как беспощадно меня учила,
какие подарки порой вручала.
Знала я счастье,
не знала покоя,
знала страдания,
не знала скуки.
С детства открылось мне,
что такое
непоправимость вечной разлуки.
Руки мои красивыми были,
нежными были,
сильными стали.

Настежь я сердце свое раскрыла
людскому счастью,
людской печали.
Я улыбалась и плакала с ними,
стала мудрее
и непримиримей,
мягче я стала,
тверже я стала,
лгать и завидовать
перестала.
Молодость — сила.
Старость — усталость.
Думаю —
сила
в запасе
осталась!

ДЕСЯТИБАЛЛЬНЫЙ ШТОРМ
НА МОРЕ

Его повсюду было слышно —
сплошной угрюмый гул валов...
Я в темноте на берег вышла,
ища защиты у стволов.

Столпотворенье звуков грозных
обрушилось навстречу мне.
Хватаясь ветками за воздух,
стонали сосны в вышине.

Кипело море в мути белой...
Гоня песчаную пургу,
бесился ветер оголтелый
на опустелом берегу.

Валил он туч свинцовых горы,
с натугой вламывался в лес
и каждого хватал за горло,
кто смел пойти наперерез.

Гудело море разъяренно,
возненавидя тишину,
когда оно плескалось сонно
у смирных дачников в плену.
И, прирученное, урчало,
песка вылизывая гладь,
и не спеша пловцов качало,
чтобы не слишком укачать,
и отдыхающим в угоду
светилось светом голубым...

Люблю, когда свою свободу
ты отдавать не хочешь им!
Когда ты с берегами в споре
и гнев твой слышен далеко...

Десятибалльный шторм на море.
О, как мне дышится легко!

С Л О В А Л Ю Б В И

ВЕСНА

* * *

Туч взъерошенные перья.
Плотный воздух сыр и сер.
Снег, истыканный капелью,
по обочинам осел.

И упорный ветер с юга,
на реке дробящий льды,
входит медленно и туго
в прочерневшие сады.

Он охрипшей грудью дышит,
он проходит напролом,
по гремящей жестью крыше
тяжко хлопает крылом.

И кипит волна крутая
с каждой ночью тяжелей,
сок тягучий нагнетая
в сердцевины тополей.

Третьи сутки дует ветер,
третьи сутки стонут льды,
третьи сутки в целом свете
ни просвета, ни звезды.

Краю нет тоске несносной.
Третьи сутки в сердце мрак...
Может быть, и в жизни весны
наступают тоже так?

* * *

Вот это и есть настоящее, да?
Вот эта тоска, темнота и вода,
бегущая с крыш по ста желобам,
спросонок бормочущая в канавах,
где скорчившись спят нерожденные травы,
где хлюпает глина со льдом пополам.
Весна по проселкам и городам
проходит, тяжелые слезы роняя...
Тоска, подступающая к губам,
тебя никому, ни за что не отдам,
на самое светлое не променяю.
Лежи до поры нарастая льдом.
Я помню,
я знаю,
что будет потом!

* * *

Вчера я в просеке лесной
случайно встретилась с весной.
Румяная колхозная девчонка
с веснушками на вздернутом носу,
она прошла и засмеялась звонко,
и сразу таять начало в лесу.
Запело, зашумело, зашуршало,
запрыгали веселые щеглы...
Весна ручонкой трогала шершавой
осин зеленоватые стволы.
И вдоль обочин, вербою поросших,
меж кочек с прошлогоднею травой
следы ее резиновых калошек
небесной наливались синевой.
Она опушку обошла сторонкой
и за кустами скрылась вдалеке.
На вид совсем обычная девчонка
с потертой школьной сумочкой в руке.
Не спорьте! Я убеждена,
что это именно она.



Еще недавно сосны гнуло,
скрипели ржавые стволы,
над головой с округлым гулом
катились хвойные валы,
и вдруг спокойствие...
Легка
рука смирившегося ветра.
Крутые, налитые светом,
встают в полнеба облака.
Раздувшиеся паруса,
земля, готовая к отплытью...
Невероятные события,
немыслимые чудеса!
Но вот опять
темно, туманно,
и к ночи дождик обложной...
Нрав у весны непостоянный,
да и к чему ей быть иной?
Она, как школьница-подросток,
сейчас поет,
сейчас грустна...
Приноровиться к ней непросто,
но ведь она — весна!
Весна!
Мы не деревья и не птицы,
не счесть людских забот и дел,
но как похорошели лица,
как взгляд у всех помолодел.
С весною опустели зданья,
и стала улица тесна...
Всем враз назначила свиданье
непостоянная весна!



В осиннике мгла затаилась седая,
ноздристый снежок по оврагам съедая,
а выше, по влажным дымящимся склонам,
подснежники глазом глядят изумленным
и ярко по вязким закраинам лужиц
блестят золоченые донца калужниц.
В извилистой балке,
далече-далече,
ручей
по-младенчески учится речи:
лепечет, картавит
и снова и снова
пытается без толку
вымолвить слово.
Зеленой иглой пробивается семя
сквозь лист прошлогодний,
по кочкам прогретым...

Была бы охота
да было бы время,
ты можешь участвовать в празднике этом.
Влезай-ка, презрев городские привычки,
ну, скажем, на Курском
в вагон электрички.
Шагай по дороге проселочной, длинной,
усталый,
вспотевший,
измазанный глиной,
клянясь беспрестанно
не слушать советов
бездомных бродяг
и знакомых поэтов.
Но вскоре, ручаюсь своей головою,

великое чудо случится с тобою:
усталый,
вспотевший,
измазанный глиной,
начнешь ты улыбкой сиять
беспричинной,
подснежник сорвешь ты
рукою неловкой,
займешься
какой-нибудь божьей коровкой,
потом проберешься к ручью по овражку,
румяный,
 без шапки,
 пальто нараспашку.
Гоняться за первой капустницей будешь,
собьешься с дороги,
 про время забудешь,
и либо сухарь безнадежный ты,
либо,
вернувшись,
за это мне скажешь:
«Спасибо!»

ЗВЕЗДЫ НАД МОРЕМ

Ю. Т.

* * *

Бомбою фашистской искалечен,
дом стоит над морем, на юру.
Все выносят каменные плечи —
дождь и холод, ветер и жару.

А вокруг него — остатки сада:
пни черешен, кустики лозы...
Здесь в камнях испуганное стадо
пряталось недавно от грозы.

И разлукой близкой опечалены,
попрощаться в тлене и пыли,
в солнцем раскаленные развалины
нежные влюбленные пришли.

Крымское безоблачное лето,
знойная закатная пора...
И — когда судить по дате — это
было не позднее, чем вчера.

Девушка, наверно в белом платье,
в холодке сидела под стеной...
Как недавно здесь гостило счастье
и опять не встретилось со мной!



До спящего моря четыре шага,
мальчишки на берег идут.
На славу отточена
острога,
в консервной жестянке — мазут.
Дымящийся факел толкнул темноту.
По узкому взморью гоня,
шипели,
вытягиваясь на лету,
лиловые капли огня,
Захлопал оранжево-красный язык,
и гладкая, как слюда,
вода запестрела от теней косых,
до дна расступилась вода.
Там, между подводных щетинистых глыб,
прибоем наметанных гряд,
висели тела отдыхающих рыб,
как аэростаты висят.
Ни смеха, ни всплеска, затих разговор,
чуть слышно песок шелестел,
да ветер полночный, катившийся с гор,
без усталости шел и свистел.
Ребята глядели на дно, не дыша,
как будто бы их острога
нацелилась вместо бедняги ерша
в подводную лодку врага.
Отчаянным шепотом:
— Витька, ударь! —
И после короткой возни
ноющую большеголовую тварь
на берег тащили они.
Хвалились: — Отличный, ребята, улов! —
И правда, ведро полно до краев,
в нем бьются о жесть, опереньем шурша,

пятнадцать бычков и четыре ерша.
В руке закоптелой туманится свет.
В консервной жестянке горючего нет.
Тряпица истлела, и факел погас,
и звездное небо упало на нас.
И всплыли созвездья с дремучего дна,
по зыби струясь и скользя.
И сразу на море легла тишина,
в которую верить нельзя.

* * *

И чего мы тревожимся, плачем и спорим,
о любимых грустим до того, что невмочь.
Большеглазые добрые звезды над морем,
шелковистая гладь упирается в ночь.
Спят прогретые за день сутулые скалы,
спит распластанный берег, безлюден и тих...
Если ты тишины и покоя искала,
вот они! Только нет, ты искала не их.

Спят деревья, мои бессловесные братья.
Их зеленые руки нежны и легки.
До чего мне сейчас не хватает пожатья
человеческой, сильной, горячей руки!

* * *

Слабеют выхлопы движка,
тускнеет свет...
Погас.
И ночь, бездонно глубока,
обрушилась на нас.
Под раскаленным пеплом звезд
деревья встали в полный рост,
слышнее стало, как ворчит
нагретый гравий под ногой,
и море,
светлое, как щит,
над бухтой выгнулось дугой.

А мы все шли,
в руке рука,
вдоль низких стен из плитняка,
вдоль темных маленьких домов,
где спят давно наверняка.
Сквозь пустыри
и сквозь сады,
где пыльный виноград вился,
мы шли, молчание неся,
как чашу, полную воды.
Мы шли не глядя,
наугад,
и было так легко идти,
еще не зная, что назад
уже отрезаны пути.

* * *

У мокрых камней выгибает волна
литую покатую спину.
Над черным хребтом Карадага
луна
истаяла наполовину.
Срываются звезды
с десятков орбит,
их росчерк мгновенен и светел.
Тревогу,
тревогу,
тревогу трубит
в ущельях полуночный ветер.
Пока фосфорящийся след не потух.
желанье
шепчу я поспешно.
Одно неизменное.
Места для двух
не стало в душе моей грешной.
К осеннему небу
прикован мой взгляд,
авось я судьбу переспорю!
...А звезды летят,
и летят,
и летят,
и падают в Черное море.

* * *

Твои глаза... Опять... Опять...
Мне сердца стук
мешает спать.
Не знаю — явь то или бред,
не знаю — был ты или нет,
не вспомнить мне
и не понять!
Твои глаза... Опять... Опять...
Волос невысохшая прядь,
соленая прохлада рук,
беззвучный ливень звезд...
Ты помнишь, как скатилась вдруг
одна из них
на пыльный мост?
Ты помнишь?
Ты не позабыл
вчерашней встречи
краткий час?
Теперь я знаю — это был
подарок свадебный для нас!
Ах, все ли ты сумел понять?
Твои глаза... Опять... Опять...
Дыханье обрывается...
Поднять не в силах век...
Так счастье начинается
последнее
навек!

* * *

Я живу в постоянном предчувствии чуда
и со мной происходят
иногда чудеса.
Воскресенье.
Сегодня здесь шумно и людно,
в пестрых тряпках
сырого песка полоса.
Ну, а море гремит,
и горит изумрудно,
и меняется каждые четверть часа.
Взад-вперед я брожу
неприкаянной тенью,
и волна замывает прилежно следы...
Значит, что же?
Сегодня у нас воскресенье?
Вечер, вечер субботний
у звездной воды!

Милый куст,
пропыленный,
жарой опаленный,
с чьей-то сохнувшей майкой
линяло-зеленой,
до чего ты сейчас
неказист и уныл...
А каким ты поистине сказочным был!
Ты купался, в сиянье ночном трепеща,
ты струился листвой наподобье плаща.
И когда я на миг
открывала ресницы,
ты светился, как будто из синего льда,
и прохладною веткою трогал нам лица,
и на ветке, как птица,
качалась звезда...

Самолет на Москву улетел на рассвете.
Только б в небе его не застигла гроза!
Обнимаю шершавые пыльные ветви
и ладонью, смеясь, вытираю глаза.
На Святой — облаков ярко-белые груды,
и плывут они по небу,
как паруса...
Я живу в постоянном предчувствии чуда,
и со мной происходят
иногда чудеса!

* * *

На рассветной поре
туча спит на горе,
залегла за хребтом
ватным серым жгутом.

На рассветной поре
ветер спит на горе,
дремлет, крылья сложа,
сном своим дорожа.

Я люблю эту гладь,
я люблю эту тишь,
дыма первую прядь
над уступами крыш,
первый блеск на волне,
первый плеск в тишине...

Буря сердца
слышнее в молчании мне!

* * *

Очертаниями туманными
горы высятся над заливом...
Любовался ли ты бакланами
утром солнечным и счастливым?

Расправляют крылья ленивые,
выгибают шейки змеиные...
С очень долгими перерывами
с весел капают капли длинные.

То вытягивается, то сжимается
на волне овальное солнце,
а на сваях сидят, жеманятся
темнокрылые незнакомцы.

Мне от них уплывать не хочется,
всплеском весел вспугнуть не хочется,
мне ничем нарушать не хочется
сердца светлое одиночество.

Но бакланам сидеть наскучило.
Тяжело поднялись и скрылись.
Завизжали в гнездах уключины,
волны о борт заколотились.

На стеклянное, на зеленое
рябь наброшена, словно кружевце...
А внизу — глубина бездонная,
а сверху — синева бездонная,
поглядишь — голова закружится!

* * *

Я поднимаюсь по колючим склонам,
я мну в ладонях пыльный полынок,
пылает бухта синим и зеленым,
кузнечики взлетают из-под ног.

В скользящих бликах света голубого,
на обожженном темени горы,
лепечут листья в рощице дубовой,
жужжат шмели и плачут комары.

Лежу. Гляжу.
Над головою дна нет!
Плывут на север тучи не спеша...
И все мне душу трогает и ранит,
так беззащитна сделалась душа.

Она ликует и пощады просит,
и нет ее смятению конца.
Так, вероятно, света не выносят
глаза у исцеленного слепца.

Всё в первый раз — долины, горы, море,
сухой дубняк, звенящий на ветру...
Вторая жизнь! На радость или горе?
Не все равно ли?
Не боюсь. Беру!

* * *

Я, сердце друга отомкнув с трудом,
вошла в него,
как путник входит в дом.
Дом был красив, обширен, но угрюм.
В него не долетали смех и шум.
Я стерла пыль и выбросила сор,
и проступил ковров
живой узор.
Уютом не желая пренебречь,
я свет зажгла
и затопила печь.
Цветы в кувшине увидала я,
любимые...
Ты, значит, ждал меня?
Затем я увидала на стене
картину, предназначенную мне.
Везде,
куда бы ни ступила я,
ждала меня заботливость твоя.
А утром распахнула я окно,
не открывавшееся так давно.
Послышались прохожих голоса,
и жизни шум снаружи ворвался.
И осени студёный ветерок
перелистал
стихов знакомых том...
И, сняв с дверей заржавленный замок,
я поняла, что этот дом —
мой дом!

В ЛЕСУ

Осенний пожар полыхает в лесу,
плывут паутин волоконца,
тяжелые капли дрожат на весу,
и в каждой по целому солнцу.
Какой нерушимый сегодня покой,
как тихо планируют листья...
Хочу вороха их потрогать рукой,
как шкурку потрогала б лисью.
Как много их — рыжих, лиловых почти,
коричневых и золотистых.
Слетают на плечи, лежат на пути,
трепещут на кронах сквозистых.
Торжественной бронзой покрыты дубы,
горят фонари-мухоморы...
Я нынче с рассвета пошла по грибы,
бродить по глухим косогорам.
Брожу —

и нет-нет

да присяду на ствол,
к осенней прислушаюсь речи.
Почудилось — кто-то по лесу прошел.
Не ты ли прошел недалече?
Брожу —

и нет-нет

да тебя позову,
молчанье лесное развею.
Мне эхо ответит, лукавя: ау...
А я вот возьму и поверю!

* * *

Вчерашний дождь
последний лист багряный
сорвал с деревьев, рощи оголя.
Я вышла через заросли бурьяна
в осенние пустынные поля.
Все шло своим положенным порядком,
заранее известным для меня:
ботва чернела по разрытым грядкам,
рыжела мокрой щеткою стерня,
блестели позолоченные утром
весенне-свежей озими ростки...
Их ветер трогал с нежностью,
как будто
на голове ребенка волосы.
А журавли,
печальные немного,
на языке гортанном говоря,
летели синей ветреной дорогой
в далекий край,
на теплые моря...
Ну, вот и все!
И нету больше лета,
когда друг друга отыскиали мы.
Но мне впервые не страшны приметы
недальней неминуемой зимы.
Зимы, грозящей и садам и людям...
Ну, что она отнимет у меня?
Ведь мы с тобою
вместе греться будем
у зимнего веселого огня!

* * *

Прошло с тех пор
счастливых дней,
как в небе звезд, наверное.
Была любимой твоей,
женою стала верною.

Своей законной чередой
проходят зимы с веснами...
Мы старше сделались с тобой,
а дети стали взрослыми.

Уж, видно, так заведено
и не о чем печалиться.
А счастье...
Вышло, что оно
на этом не кончается.
И не теряет высоты,
заботами замучено...

Ах, ничего не знаешь ты,
и, может, это к лучшему.
Последний луч в окне погас,
полиловели здания...
Ты и не знаешь, что сейчас
у нас с тобой
свидание.

Что губы теплые твои
сейчас у сердца самого
и те слова — слова любви —
опять воскресли заново.

И пахнет вялая трава,
от инея хрустальная,
и, различимая едва,
звезда блестит печальная.

И лист слетает на пальто,
и фонари качаются...

Благодарю тебя за то,
что это не кончается.

РАЗГОВОР С ЮНОСТЬЮ

* * *

Я тебя вспоминаю солидной и важной,
с толстой мордочкой,
в капоре серого пуха...

Говорила ты басом, немного протяжно.
Отвечала, как правило, вежливо-сухо.
Дома ты становилась другою немножко
в полосатой своей бумазейной пижаме,
улыбалась, хихикала, мучила кошку,
приставала с вопросами разными к маме...
До чего я порой уставала, бывало,
от несчетных твоих «почему» и «откуда»,
говорила: — А ну, помолчи! —

и не знала,
что жалеть о твоём красноречии буду.
Верно, так уж устроено сердце людское.
Мне казалось, я очень нуждаюсь в покое,
а сейчас вот, когда это время далеко,
мне не горестно, нет,
но чуть-чуть одиноко.
Иногда мне хотелось бы теплого слова,
иногда мне бы маленькой ласки хотелось.
Но к родителям
юность особо сурова,
ей совсем не к лицу проявлять мягкотелость.
У нее есть на все
очень твердые взгляды,
есть на все «почему» и «откуда»
ответы.

Я такой же была...

Так, наверное, надо.

А потом... до чего кратковременно это!

Скоро жить начинаем мы как бы сначала;
понимаем, что сложно живется на свете,
что любимых любили мы плохо и мало
и что, в сущности, мы
те же самые дети.
Предстают по-другому все наши поступки...
Помню я,
по одной из московских улиц
мама, мама моя
в старой плюшевой шубке
одинокое шагает, слегка сутулясь.
Мне догнать бы ее, проводить до трамвая,—
до чего бы, я знаю, была она рада.
Ах, как часто теперь я о ней вспоминаю...
Юность вечно спешит.
Так, наверное, надо?!

ПРИШЛА КО МНЕ ДЕВОЧКА

Пришла ко мне девочка
с заплаканными глазами,
с надеждой коснулась моей руки:
— Ведь вы же когда-то любили
сами, —

вы даже писали об этом стихи...
Я не хочу так, я не согласна...
Скажите, разве она права?
Зачем она перед целым классом
вслух читала его слова?
Зачем так брезгливо поджала губы,
когда рвала листок пополам,
зачем говорила о нас так грубо,
что мне повторять неудобно вам.
Мы очень с ним дружим...

— Я это знаю.

— Он очень хороший!

— Я помню, да...

— Вы разве знакомы с ним?

— Да, была я

такой же девчонкой, как ты, тогда
он тоже писал мне записки...

— Значит,
вы мне поверите?

— Всей душой!

...И вот разговор откровенный начат
между маленькой женщиной
и большой.

Через час,
утешившись в детском
горе,
она ушла на каток... А я
разговор продолжаю, волнуясь,
спору,

тревожно на сердце у меня.
Если учительница вскрывает
чужие письма — прощенья нет!
Простите, я, кажется, подрываю
педагогический авторитет?
Простите, но все это —
дело поэта,
а я к тому же еще и мать...
Поэт Маяковский писал «Про это»
затем, что про это надо писать!
Мы учим детей от гриппа
спасаться,
улицы учим переходить,
так как же этого не касаться,
как будто легко научиться
любить.
(Казалось бы, это проще простого!)
Но я про любовь настоящую, ту,
когда самая жизнь
отдается без слова
за отчизну,
за женщину,
за мечту...
Чтобы люди
веку по росту были,
такими надо вырастить их,
чтобы с детства
все, что они любили,
любили бы
больше себя самих!

Пришла ко мне девочка
с заплаканными глазами,
вами обиженная до слез.
Почему вы в доверии ей отказали?
Потрудитесь ответить на этот
вопрос!

Ведь не просто
школьница перед доскою,
единица, из коих составлен класс, —
вам было доверено
сердце людское...
Теперь оно больше не верит в вас!

* * *

За окошком падает снежок,
лиловее улица во мгле...
Телефон, бесстрастный, как божок,
молча восседает на столе.
Снегопадом заштрихован сплошь,
отплывает город в темноту...
Что ж ты от стола не отойдешь,
часовым застыла на посту?
Загалдели галки в перебой,
засветились ранние огни...
Ты глядишь с отчаянной мольбой,
ты без слов взываешь:
«Зазвони!»
Ты девчонка.
Это не всерьез.
Я же знаю цену первых слез,
первых встреч и ссор,
и все равно,
огорчаюсь и тревожусь я...
Разве не окончилась давно
юность неспокойная моя?
Значит, что же, я должна опять
ошибаться, волноваться, ждать?
Любишь ты,
скажу я не в укор,
многому идти наперекор.
Будешь жить непросто, нелегко,
слишком сходство наше велико.
И робка ты будешь, и горда,
и несправедлива иногда...

Ты девчонка...
Только все всерьез.
Каждый колос из зерна пророс.
Пусть волнений будет через край —
огорчайся, радуйся, борись,
лишь мечты большой не потеряй,
высотой ее
не поступишь!

ПЕРВАЯ ГРОЗА

Ты на экскурсию уехала,
и ровно через полчаса,
гремя железными доспехами,
на приступ двинулась гроза.

Зловеще тлело небо черное,
клубилась даль — желта, седа...
И мне соседка удрученная
сказала:

— Сущяя беда!
Взгляните вы, как тучи грудятся,
теперь заладит на три дня!
Конечно, все они простудятся,
во всяком случае — моя.

А грома дальнее ворчание
уже слилось в тягучий гул,
и, разом взыв,
порыв отчаянный
окошко настежь распахнул.

Запахло пылью, влагой, листьями,
лиловый блеск слепил глаза...
Самозабвенно и неистово
гремела первая гроза.
Потоки по цветам и кустикам
катились с глиной пополам...

Соседка,
не найдя сочувствия,
вернулась к кухонным делам
и заперла окно, наверное,
и злилась, непогодь кляня...
А мне припоминалась первая
гроза, наститшая меня.

Всю жизнь ее не забываешь!
Я помню — ливень лил журча,
и осмелевший мой товарищ
прикрыл меня полой плаща.
А я не поднимала взгляда,
свою сговорчивость коря,
пытаясь вымолвить:
«Не надо» —
и ничего не говоря.
Давно промокли ноги наши,
и оба мы продрогли, но
одно нам только было страшно —
что это
кончиться должно!

И, забывая опасения,
я думала — как там, в лесу,
ты празднуешь
свою весеннюю
неповторимую
грозу.

СОСЕДКА

Загляденъе была соседка:
сероглазая,
с нежной кожей.
Останавливались нередко
и смотрели ей вслед
прохожие.
А потом она постарела,
потеряла все, что имела.
Стала старой старухой
грузной
из вчерашней девочки хрупкой...
А старик —
и смешно и грустно! —
все гордится своей голубкой.
— Как была, — говорит, — красавицей,
так красавицей и осталась! —
Люди слушают,
усмеваются:
дескать, вовсе ослеп
под старость...
Если б ты совета спросила,
я дала бы один-единый:
не желай быть самой красивой,
пожелай быть самой
любимой!

ТВОЙ ВРАГ

С любым из нас случалось и случится...
Как это будет, знаю наперед:
он другом назовется, постучится,
в судьбу твою на цыпочках войдет.
Старик с академическим величием
или девчонка с хитрым блеском глаз...
Я не берусь сказать, в каком обличье
он предпочтет явиться в этот раз.
Он явится, когда ты будешь в горе,
когда увидишь, как непросто жить,
чтобы тебе в сердечном разговоре
наипростейший выход предложить.
Он будет снисходительно участлив
и, выслушав твой сбивчивый рассказ,
с улыбкой скажет:
— Разве в этом счастье?
Да и к тому же любят-то не раз!
Да и к тому же очень под вопросом
само существование любви:
ведь за весной идут другие весны
и новое волнение в крови...
А важно что?
Солидный муж и дети,
свое хозяйство и достаток в дом...
Обман? Ну что ж,
так все живут на свете,
и что предосудительного в том?

Он объяснит, что жизнь груба, жестока,
что время бросить всякий детский вздор,
и вообще не залетать высоко,
и вообще зачем наперекор?

Я помню все.
Все слышу вновь как будто.
И, признаюсь, мне страшно потому,
что я сама на час или минуту,
но все-таки поверила ему?

Да, да... К тебе он постучится тоже,
он пустит в ход улыбки, ласку, лесть...
Не верь ему, он жалок и ничтожен.
Не верь ему, любовь на свете есть!
Единственная — в счастье и в печали,
в болезни и здравии — одна,
такая же в конце, как и в начале,
которой даже старость не страшна.
Не на песке построенное зданье,
не выдумка досужая, она
пожизненное первое свиданье,
безветрия и гроз чередованье!
Сто тысяч раз встающая волна!
Я не гадалка. Я судьбы не знаю.
Как будешь жить, смеясь или скорбя?
Но все равно всем сердцем заклиная:
не позволяй обманывать себя!
Любовь, не знающая увяданья,
любовь, с которой несовместна ложь...
Верь, слышишь, верь в ее существованье,
я обещаю —
ты ее найдешь!

* * *

Я жизнь никогда еще так не любила,
как нынче,
на новом своем рубеже;
я юности счастья
еще не забыла,
мне зрелости счастье
доступно уже!

Тебе говорю по возможности строго:

— Ну что ж, потанцуйте, но только

немного... —

и знаю отлично, что мирный наш дом
согласьем моим обречен на разгром.
Вы станете петь, хохотать и кружиться,
вы сдвинете мебель, истопчете пол,
а я залюбуюсь на милые лица,
на мой повзрослевший родной комсомол!
Давно ли вы все по оврагам аукали,
играли в Чапаева,
кукол баюкали?

Вам было костры разводить по душе
и спины сгибать в три дуги в шалаше...

Забавы забытые лет отдаленных —

их все заменила

игра во влюбленных.

Записки и встречи в условленный час,
и вид равнодушный друзьям напоказ,
и ревность, и слезы, и взгляды блестящие,
ну, все как взаправду,
все как настоящее!

Игра... Но в игре-то ведь тоже важна
и честность,
и верность,
и чувств глубина!

Как трудно бывает заметить порой,

что все это быть перестало игрой,
что детство шагнуло уже за порог,
под жгучие ветры
душевных тревог...
Ну, вот ты и выросло, новое племя!
Навряд ли ты помнишь военное время,
а я вот нет-нет да припомню бойца
с таким же мальчишеским складом лица
и девочку худенькую
у станка,
рука у которой вот так же тонка...
И с новым волнением за вами слежу,
и новую нежность в душе нахожу,
и новую гордость в душе нахожу,
смотря на улыбки, на линии лба,
на руки, в которых
и наша судьба!

О СЧАСТЬЕ

Ты когда-нибудь плыл по широкой воде,
обнимающей плотно и бережно тело,
и чтоб чайка в то время над морем летела
чтобы облако таяло в высоте?

Ты когда-нибудь в зной
добредал до ключа,
что коряги и камни
обегают журча,
что висящие корни толкает и лижет
и на мох

серебристые шарики нижет?
Ты ложился и пил этот холод вздохом,
обжигая им пыльные щеки и лоб?

Ты когда-нибудь после
очень долгой разлуки
согревал свое сердце
о милые руки?

Ты когда-нибудь слышал,
в полутьме, в полусне,
дребезжащий по крышам
первый дождь по весне?
И ребячья ручонка тебя обнимала?
И удача большая в работе бывала?

Если так, я почти согласиться готова —
счастлив ты...

Но ответь на последний вопрос:
ты когда-нибудь
сделал счастливым другого?
Ты молчишь?

Так прости мне жестокое слово —
счастья в жизни
узнать тебе не привелось!

Второе дыхание

1961

I

* * *

Людские души — души разные,
не перечислить их, не счесть.
Есть злые, добрые и праздные
и грозные души есть.

Иная в силе не нуждается,
ее дыханием коснись —
и в ней чистейший звук рождается,
распространяясь вдаль и ввысь.

Другая хмуро-неотзывчива,
другая каменно-глуха
для света звезд,
для пенья птичьего,
для музыки
и для стиха.

Она почти недосыгаема,
пока не вторгнутся в нее
любви тревога и отчаянье,
сердечной боли острое.

Смятенная и беззащитная,
она очнется,
и тогда
сама по-птичьи закричит она
и засияет как звезда.

О НЕПОМЕРНЫХ ПРИХОТЯХ ДУШИ

Да, и они под стол пешком ходили
и палочки чертили —
малыши.

И может быть, им строго говорили
о непомерных прихотях души.

Нет, не в таких, конечно, выраженьях,
в словах, доступных детскому уму:
дескать, учи таблицу умноженья,
а выдумки все эти
ни к чему!

И плакались впоследствии знакомым:

«Упрям! Хоть кол на голове теши!»,
твердя в негодовании законном
о непомерных прихотях души.

Нет, не в таких, конечно, выраженьях
велся их наболевший разговор:

«Давно бы мог добиться положенья,
а он чужак какой-то,
фантазер!

Все сыновья как сыновья,
а этот

бог весть чего забил себе в башку:
то новый опыт, то какой-то метод,
рад ерунде, грустит по пустяку...»

.
Но вот летит за сто веков отсюда
туманность мысли, ставшая звездой.
Все восклицают: «Совершилось чудо!»
А все ведь шло своею чередой.

И если вправду говорить о чуде,
так вот оно — вот эти малыши,
провидцы эти,
будущего люди,
чьи непомерны прихоти души.

НОЧЬ В ГОРАХ

Мы ступаем по блеску лунному,
я и спутник случайный мой.
Ночь холодная,
ночь бездумная
в лунном инее, как зимой.
Тускло теплятся
горы снежные,
невесомые под луной...
Небо прежнее.
Звезды прежние.
Крылья прежние за спиной!
Два моих молодых крыла...
Как забыть я о них могла?
Через скалы,
ручьев промоины,
речки скомканную парчу
«Все доступно,
и все дозволено!» —
пожелаю
и полечу!
Под ногами — трава несмятая
в ледяной голубой росе.
А душа-то —
у всех крылатая.
Только знают про то
не все.

ВИОЛОНЧЕЛЬ ЗА СТЕНОЙ

Я сперва не любила
монотонные трели,
упражненья
неопытной
виолончели.
А она то и дело
шмелиной струною
заунывно гудела
за мою стеною.
Вопрошала сначала
о чем-то протяжно
и сама отвечала
печально и важно.
А потом я смирилась,
привыкла
и даже
полюбила
учебные эти пассажи.
К девяти
все уходят
из нашей квартиры.
Предвесеннее утро
промозгло и сыро.
Снег за окнами сыплется
мокрый и редкий,
южный ветер качает
намокшие ветки,
полон сад
воробьиного вздорного гама...
Жду — когда же послышится
первая гамма,
этот медленный голос,
звучащий глубоко?
С ним,

(не стану скрывать!)
мне не так одиноко,
и как будто бы
легче спорится работа,
оттого что бок о бок
работает кто-то.
Будто в трудной дороге
со мною подруга,
и порой нам обеим
приходится тугο,
и порой к нам обеим
приходит удача...
Я, наверно, теперь
не смогла бы иначе.
Жаль одно:
незнакомка не знает,
не слышит,
как за стенкою
песня беззвучная
дышит,
как тоскует, ликует,
бьется в строчках,
как в клетке.

Дождь и ветер.
Качаются мокрые ветки.

* * *

Воздух пьяный — нет спасения,
с ног сбивают два глотка.
Облака уже весенние,
кучевые облака.
Влажный лес синеет щеткою,
склон топорщится ольхой.
Все проявленное, четкое,
до всего подать рукой.
В колеях с навозной жижей,
кувыркаясь и смеясь,
до заката солнце рыжее
месит мартовскую грязь.
Сколько счастья наобещано
сумасшедшим этим днем!
Но идет поодаль женщина
в полушалочке своем,
не девчонка и не старая,
плотно сжав румяный рот,
равнодушная, усталая,
несчастливая идет.
Март, январь, какая разница,
коль случилось, что она
на земное это празднество
никем не позвана.
Ну пускай, пускай он явится
здесь, немедленно, сейчас,
скажет ей:
«Моя красавица!»,
обоймет, как в первый раз.

Ахнет сердце, заколотится,
боль отхлынет, как вода.
Неужели не воротится?
Неужели никогда?
Я боюсь взглянуть в лицо ее,
отстаю на три шага,
и холодная, свинцовая
тень ложится на снега.

ИЮЛЬ

Пахнет липами на улице Воровского,
пахнет липами на площади Восстания,
льется запах волнами и всплесками,
медленной рекою
между зданиями.

Он везде и всюду пробивается,
к изголовью спящих проникает,
в сновидения их пробирается,
к их сердцам губами приникает.
Трудно женщинам разлюбленным
и вдовам

задышаться в запахе медовом,
трудно девушкам,
влюбленным без ответа,
в это торжествующее лето.

Трудно мне —
любимой и влюбленной —
в час рассвета, под звездой зеленой,
о любви молчать...

Не потому ли,
что у сердца тоже есть свои июли,
и тогда оно цветет неудержимо
и само под этим сладким грузом мается,
...А звезда все выше подымается,
и еще один рассвет проходит мимо.

ЛИВЕНЬ

Этот шум —
почти лесной,
этот гул —
почти морской.
То ударил над Москвой
летний ливень навесной.
Дали изжелта-грязны,
тучи пухлые грозны,
два куска голубизны
словно окна
над Москвой.
В них, как светлые мечи,
бьют наотмашь лучи.
Праздник света и воды,
ошалевшие сады,
ливень, пляшущий в лучах,
тяжесть влаги на плечах.
Над асфальтом —
теплый пар,
на асфальте —
солнца шар,
и идут по мостовой
люди книзу головой,
беззастенчивый народ —
переходят небо вброд!
Кто разут, а кто обут,
в облаках они идут,
все с улыбками идут,
все сегодня
счастья ждут!

НЕЗАБУДКИ

Дождик долго плясал,
отбивая чечетку,
долго в небе гремело на все лады,
и трава на бульварах
торчала, как щетка,
из лиловой рябой воды.

А потом,
когда к ночи
кончилось это,
у метро,
у театров,
у магазинов
продавали толстенькие букеты
незабудок

в мокрых еще корзинах.

Люди мимо шли
деловой походкой,
не обращая на них внимания,
и смотрели цветы
дружелюбно и кротко
на толпу

и многоэтажные здания.

Голубыми,
чуть слышными голосками
напоминали прохожим робко,
что есть темнота,
и ручьев плесканье,
и промятая в мокрой осоке
тропка.

Окликали...

Но люди, вспомнить не в силах,
к зову земли оставались глухи.

И у полных корзин
дремали уныло

опоздавшие на электричку
старухи.

Мы возвращались с тобой оттуда,
где тучи табачного дыма висли,
звенели рюмки, бренчала посуда,
звучали слова
и молчали мысли.

И ты мне купил
пучок незабудок,
и я чистотой полевой дышала.

Я ночи той
никогда не забуду,
хоть она ничего еще не решала.
Не забуду той свежести и темноты
и широких белесых зарниц
вдали,
я тогда и придумала,
что цветы —
это стихи земли.

* * *

Тропа, петляя и пыля,
сбегает в темный буерак.
Там душно пахнет конопля,
там комарьем набитый мрак.
И, словно мраком порожден,
откуда-то изглубока
стекляшек слабый перезвон,
несвязный щебет родничка.
Глухая, тихая пора,
вселяющая древний страх.
Перепела, перепела
одни кричат еще в полях.
Сквозь ветки светится мертво
налитый звездами бочаг.
Сознайся, ты ведь ничего
не знаешь о таких вещах?
А это я — любовь твоя,
по пояс вымокла в росе,
синюют шарики репья
в коротенькой моей косе,
в намокшем платьишке своем
иду, гадая о судьбе.
Иду и думаю о нем,
и это значит — о тебе.
Ты синеглаз, светловолос,
ты статен и бронзовокож,
и мне смешно теперь до слез,
как на себя ты не похож.
Сплошь заметён метелью звезд
полей торжественный покой.
А где-то там, за сотни верст,
не спит ребенок городской.

Трамваев гром в ночи слышней
фонарь качается в окне,
и мальчик думает о ней,
и это значит— обо мне.
А впереди петлистый путь,
десятилетий долгих мгла.
...Ну, расскажи когда-нибудь,
какая я тогда была?

ДВЕ ТЕНИ

Помнишь дом на пригорке?
В камне ступени?
Блеск фонарей
ледяной, голубой?
На мерцающем кварце
две черные тени.
Две четкие тени.
Наши с тобой.
Стекла в окнах черно
и незряче блестели,
сладко спали хозяйева
в мягкой постели,
сны, наверно, смотрели
и ведать не ведали,
что сегодня
их двое прохожих
проведали.
Открывали калитку,
на лестницу лазали,
постояли
под черными влажными вязами,
заговорщицким шепотом говорили
и друг другу
тот маленький дом подарили,
и с собой увезли его
в поезде дальнем,
вместе с лестницей, садом,
хозяйскою спальней,
вместе с шепотом, взглядами,
тайным смятеньем,

что на веки веков они,
ночью любой,
на мерцающем кварце
две черные тени,
две четкие тени —
наши с тобой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

С кем из нас не случилось?
Заботы, дела...
До чего ж я давно у друзей не была!
Дни проходят — десятки и сотни дней,
и чем дальше,
тем все труднее, стыдней,
невозможнее все становится нам
однажды вдруг появиться там.
Однажды войти в позабытый двор,
и привычным стуком в дверь постучать,
и в глазах молчаливый прочесть укор,
и на годы прерванный разговор
неизвестно как и с чего начать.
А ведь ты у них за родную шла,
и, наверное, думалось им не раз:
видно, жизнь чересчур у нее хороша,
а вернее, не та у нее душа,
что не кажет глаз,
что забыла нас...
Вот и пять, и пятнадцать, и двадцать лет
я с тобой не встречалась, любовь моя.
И померк в моем сердце твой давний свет,
а ведь я без тебя
не могла и дня!
Ты в мечтах мне мечталась и снилась в снах,
я с рожденья под знаком твоим росла,
сколько слез, сколько тайн моих
в рыжих волнах
в старый Каспий когда-то ты унесла.
Ты была, ты жила во всем и везде:
в мерном шлепанье плиц,
в звезде на воде,
в связках воблы янтарной,
в жгучей глади песка,

в пыли, ветре, гудках,
в песне плотовщика...
Ты листала учебников школьных листы,
горьких писем обрывки скрывала навек.
Волга, Волга моя,
всюду — ты, вечно — ты.
Сколько в жизни тобою расставлено вех!
Верно, сердце мудреет от долгих разлук!
Видишь — вот я! Виновно, тревожно любя,
я на глаз и на оцупь, на вкус и на слух
ощущаю, вбираю, вдыхаю тебя!
Я на дне каменистом твоём стою,
я не пью, я целую воду твою.
Холодна и мутна, сладко пахнет она
нефтью, рыбою, илистым запахом дна,
и полна она светом зари и огней.
Я стою, и дышу, и смотрю без конца,
и дорожную пыль омываю с лица...
Вот ко мне и вернулось
полжизни моей!

СТАРЫЙ ДОМ

Сколько раз я мечтала
в долгой жизни своей
постоять, как бывало,
возле этих дверей.
В эти стены вглядеться,
в этот тополь сухой,
отыскать свое детство
за чердачной стрехой.
Но стою и не верю
многолетней мечте:
просто двери как двери.
Неужели же те?
Просто чье-то жилище,
старый розовый дом.
Больше, лучше и чище
то, что знаю о нем.
Вот ведь что оказалось:
на родной стороне
ничего не осталось, —
все со мной и во мне.
Зря стою я у окон
в тихой улочке той:
дом — покинутый кокон,
дом — навеки пустой.

ЧУДЕСА

Как ни покажется это нелепо вам,
но едва разгоралась заря малиново,
я просыпалась от
великолепного,
важного, грозного рыка
львиного.

Ржавый тополь шумел
у окна открытого.
Высыхало... Теплело... Тянуло чадом...
Всех готова жалеть я,
кто не испытывал
величайшего счастья —
жить с цирком рядом.

Просыпаться и тотчас, не тронув чая,
обманувши бдительность домочадцев,
к сердцу хлеб похищенный прижимая
к заветному лазу в заборе
мчаться!

Я помню, мама диву давалась —
куда столько хлеба у нас девалось?

Ведь жили тогда мы
в приволжском городе,
еще не успевшем забыть о голоде.

Но я ни о чем не думала, кроме
восхитительной дружбы
слоненка Томми.

Я вдыхала чудесный запах конюшен,
запах опилок, острый и свежий,
двери были раскрыты, огонь потушен,
шли репетиции на манеже.

Меня давно гонять перестали,
чередой привычной текла работа,
трико стеклярусом не блистали,
они темнели от пятен пота.

Я часами не отрываясь глядела,
с какой беспощадностью и упорством
эти люди себе подчиняли тело,
чтобы трудное стало легко и просто.
Я часами не отрываясь глядела,
как размеренно-ровно качалась лестница,
как в десятый и в сотый
четко и смело,
как пружинка,
взлетала моя ровесница.
Изредка меня родители брали
на вечернее представление.
Бодро марши гремели,
трико сверкали
в непривычно-торжественном отдалении.
И хотя я помнила, как им трудно —
друзьям моим — давалась удача,
все равно мне казалось
все это чудом,
да и нынче
не думаю я иначе.
И нынче я, вспоминая о многом,
радуюсь,
что когда-то в детстве
дни свои проводила в цирке убогом,
с чудесами такими в соседстве.

* * *

Я помню, где-то,
далеко вначале,
наплававшись до дрожи поутру,
на деревенском стареньком причале
сушила я косенки на ветру.

Сливались берега за поворотом,
как два голубо-сизые крыла,
и мне всегда узнать хотелось:
что там?
А там, за ними,
жизнь моя была.

И мерялась, как водится, годами,
и утекали годы, как вода...

Я знаю, что́
за синими горами,
и не хочу заглядывать туда.

ВЕСЛО

Балалайка бренчала,
песни пела весна.
Прибежала я к причалу,
принесла два весла.
Мы с тобою плыли Волгой,
луговой стороной,
древесиной пахло волглой,
мгла легла пеленой.
Проглядела я излучину,
что лозой заросла,
утопила я уключину,
не сдержала весла.
Ты бранил меня недолго.
Тишина. Темнота.
Нас укачивала Волга,
шурша о борта.
Мы зажгли плавник наносный,
руки грели в золе.
Было холодно и звездно
на весенней заре.
Много было, да уплыло,
как по волнам весло,
было, было, много было,
да быльем поросло!

* * *

Всплески мерные
за бортами,
посвист свежего ветерка,
смутно дизелей бормотанье
долетает изглубока.
Берега обступают тесно
темным ельником и сосной,
удивительны и прелестны
тишиною своей лесной.
После долгих просторов моря,
где и берега не видать,
очень ласковы
эти взгорья,
сел прибрежная благодать.
И на нашем пути пройденном
представляется это мне
часом праздничным,
проведенным
с кем-то близким
наедине.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ГЭС

Она предстала мне в сиянье лета,
сперва ничем не поражая глаз,—
так гармонично,
так великолепно
она с рельефом местности слилась.
Белея между небом и водою,
она казалась мне издалека
нерукотворной горною грядкою,
существовавшей долгие века.
Она гигантским гребнем
неустанно
расчесывала белую кудель,
она рождала ток,
и было странно,
что ей самой-то несколько недель.
Что были котлованы, перемычки,
бураны, ливни, многолетний труд,
что здесь менялись русла и привычки,
что суша заново творилась тут.
Что были дни побед и поражений,
аварии и подвиги,
и грусть
с лица земли исчезнувших селений,
и все, что перечислить не берусь,
все, все, что было до ее рожденья...
Так живописцев лучшие холсты
непосвященных вводят в заблужденье
чертами гениальной простоты.

* * *

Чтоб не катилась бесполезно,
по вековой повадке рек,
грядой бетонной и железной
разрезал реку человек.
Он к жизни вызвал море света,
речное русло изменя,
но я хотела не про это, —
другое мучает меня:
мы со стихией в поединке,
а в нашей собственной судьбе
живем как бог даст,
по старинке,
струимся сами по себе.
Мы струйки мыслей катим, катим,
за мигом миг, за часом час...
Что добываем — тут же тратим,
не оставляя про запас.
А там, глядишь, и обнаружим:
мелеем! Долго ль до беды...
Поэтам он особо нужен —
высокий уровень воды.
Здесь не простое совпадение —
глубокий смысл и правда в нем:
лишь в миг отвесного паденья
вода становится огнем.

СУДЬБА РОССИИ

Грачи галдели,
было половодье,
светились ветлы пухом золотым...
Его называли ласково
Володей
и любовались лобиком крутым.
Ночами в окнах
вздрагивали стекла,
в них барабанил ветер озорно.
Ребенок спал,
тяжеленький и теплый,
как спит до срока
в борозде зерно.
Уже в нем силы зрели
и бродили,
готовые пласты веков
поднять.
А в гости сослуживцы приходили,
хвалили сына,
поздравляли мать.
И, постояв у колыбели чинно,
по вежливой традиции гостей
вновь говорили —
о делах мужчины,
а женщины
про жизнь и про детей.
Как дальше будет? —
думали-гадали,
предполагали, спорили...
А там
чай допивали, пироги съедали,
спохватывались:

надо по домам!
«Нет, нет, не провожайте нас!» —
просили
и уходили в суетные дни,
не понимая,
что судьбу России
уже воочью
видели они.

ПРОЩАНИЕ

У дебаркадеров лопочет
чернильно-черная вода,
как будто высказаться хочет,
да не умеет — вот беда!
Как будто бы напомнить хочет
о важном, позабытом мной,
и все вздыхает, все бормочет
в осенней теми ледяной.
Мой давний город, город детства
в огнях простерт на берегу.
Он виден мне, а вот взглядеться
в себя, былую, не могу.
Чувств неосвоенная область,
смятенных дум круговорот.
Напрасно старенький автобус
меня на набережной ждет.
Ах, если б не рассудка строгость
и не благоразумья власть!
Но тонко просвистела легость,
и связь, как нить, оборвалась.
И вот уже клубит сугробы
и за кормой шумит вода,
и город в ночь уходит, чтобы
не воротиться никогда.
И не сказать, как это грустно,
и взять бы кинуться вослед...
Но жизнь с трудом меняет русло,
когда тебе не двадцать лет.

СТИХИ О ГУДКЕ

Я с детства любила гудки на реке,
я вечно толклась у причала,
я все пароходы
еще вдалеке
по их голосам различала.
Мы часто таким пустяком дорожим,
затем что он с детства привычен.
Мне новый гудок показался чужим,
он был бессердечен и зычен.
И я огорчилась,
хотя я сюда
вернулась, заведомо зная,
что время иное, иные суда
и Волга-то, в общем, иная.
А все-таки он представлялся в мечте,
как прежде, густым, басовитым...
Мы вышли из шлюзов уже в темноте
и двинулись морем открытым.
Я не узнавала родные места,
где помнила каждую малость.
В безбрежности
пепельных вод широта
с темнеющим небом сливалась.
Рвал ветер низовый
волну на клочки,
скитался равниною пенной,
и только мигали в ночи маячки,
как звездочки в безднах вселенной.
Барометр падал,
и ветер крепчал,
зарница вдали полыхала,
и вдруг нелюбимый гудок закричал,
и вдруг я его услышала.
С чего же взяла я? Он вовсе не груб,

он речью своей безыскусной
похож на звучанье серебряных труб,
пронзительный, гордый и грустный...
Он, как тетива, трепетал над водой,
под стать поражающей шири,
такой необычный, такой молодой,
еще не обывкшийся в мире.
И так покоряло его торжество,
его несвершенности сила,
что я не могла не влюбиться в него
и прежней любви изменила.
И нет сожаленья о прошлом во мне,
в неверности этой не каюсь...
Что делать — живу я
в сегодняшнем дне
и в завтрашнем жить
собираюсь!

II

* * *

Сколько милых ровесников
в братских могилах лежит.
Узловатая липа
родительский сон сторожит.
Все беднее теперь я,
бесплотнее день ото дня,
с каждой новой потерей
все меньше на свете меня.
Черноглазый ребенок...
Давно его, глупого, нет.
Вместо худенькой девушки —
плоский бумажный портрет.
Вместо женщины юной
осталась усталая мать.
Надлежит ей исчезнуть...
Но я не хочу исчезать!
Льются годы рекою,
сто обличий моих хороня,
только с каждой строкою
все больше на свете меня.
Оттого все страшнее мне
браться теперь за перо,
оттого все нужнее
разобраться, где зло, где добро.
Оттого все труднее
бросать на бумагу слова:
вот, мол, люди, любуйтесь,
глядите, мол, я какова!
Чем смогу заплатить я
за эту прекрасную власть,
за высокое право

в дома заходить не стучась?

Что могу?

Что должна я?

Сама до конца не пойму...

Только мне не солгать бы

ни в чем,

никогда,

никому!

СТРЕЛЫ

Я была в одном старом городе,
жестоко раненном городе,
выжившем,
выросшем,
помолодевшем,
новый красивый наряд
надевшем.
Но идешь и внезапно
в звездном мерцанье —
очертанье стены одинокой,
стены без дома,
стены без окон,
покрытой осколочными рубцами...
Идешь по скверу, в золоте осени,
и вдруг понимаешь, что под ногами
корни зданий убитых...
На мшистом камне
башен средневековых
глубокие оспины...
Во дворах
недоброй памяти стрелы
с надписью: «Бомбоубежище».
Буквы светятся в сумерках
цветом белым...
Почему этот лак
так немыслимо свеж еще?
Почему на земле
это стыдное слово
свежей краской пишется
снова и снова,
в разных странах,
на языках непохожих,
удивляя детей
и идущих прохожих?

Без него обойдутся любые наречья
и любые лингвисты эпох отдаленных...
Будь неприкосновенно,
гнездо человечье,
сон ребенка
и сердцебиенье влюбленных!
Ах, как надо,
чтобы человечество стерло
это слово, хватающее за горло,
эти стрелы, привычные, обыденные,
на сердца материнские
наведенные!

САЛОМЕЕ НЕРИС

Мы пришли к ней
в тихий ее уголок,
положили цветы у каменных ног,
у бедных, маленьких, каменных ног,
для которых нет на земле дорог.
А она — я же знаю, —
как я, как все,
любила босой бежать по росе,
любила ничком на траве лежать,
в ладонях лучи любила держать.
Я знаю все, что любила она,
я все люблю, что любила она,
но плита под ногами ее холодна
и в каменном садике тишина.
Саломея, сестра, лесной соловей,
сколько ты не допела
весной своей,
сколько не досказало
сердце твое
в земное короткое бытие.
Это я по дорогам твоим хожу,
это я цветы тебе приношу,
добрым ветром отчизны твоей дышу,
«Помоги, помоги мне!» —
тебя прошу.
Чтобы видеть —
дай мне глаза твои.
Чтобы слышать —
дай мне уши твои.
Чтобы к сердцу народа путь найти —

одари меня силой

твоей любви.

Никогда еще так не мечталось мне

все узнать, угадать,

суметь и посметь

хоть единую песню твою допеть.

...Очень счастлива я

на твоей земле.

СОДРУЖЕСТВО

Городских деревьев аллеи
видеть больно бывает мне.
Городскую землю жалею —
как ей душно в ее броне!

Отчего же здесь так легка мне
камня тяжкая красота?
Или, может быть, в здешнем камне
есть особая доброта?

Ну и что? Чудеса бывают.
Я же чувствую, что гранит
здесь не давит, а обнимает,
не господствует, а хранит.

Здесь он друг, а не враг деревьям...
Может, именно потому
плющ столетний с таким доверьем,
так любовно прильнул к нему.

Здесь деревья сильней и строже...
Выступающие из мглы,
с колоннадой мощной схожи
безупречные их стволы.

Удивительное содружество!
И подумать я не могла,
чтоб в деревьях такое мужество,
чтобы в камне столько тепла.

ЛИТВЕ

Я разные видала
края и города.
С какими-то бывала
я дружною горда.
Иные были суше
и сдержанней подчас...
У них ведь тоже души
такие ж, как у нас.
Встречалась, изумлялась
и — не скрываю я, —
как девочка, влюблялась
в прекрасные края.
Потом я старше стала
и строже на слова,
и сердце раскрывала,
подумавши сперва,
и замолчала вовсе,
и, годы обвиняя,
подумала, что осень
настала для меня,
что сердце охладело
и дар любви иссяк...
Послушай, в чем же дело?
Послушай, как же так?
Ведь многое красивей,
заманчивей, щедрей
твоих одетых в иней,
пустых твоих полей,
твоих лесов неслышных,
твоих прибрежных ив...
Застенчиво глядишь ты,
ресницы опустив.

Зачем же так мне помнится,
такой зовёт тоской
твой тихий облик, скромница,
с улыбкой колдовской?
Я нежностью безмерною,
как светом, налита.
Ты знаешь, я, наверное,
люблю тебя, Литва.

В СТАРОМ ВИЛЬНЮСЕ

Я брожу по ночному Вильнюсу,
изумляюсь искусству зодчества
и не думаю про одиночество,
оттого что его не вынесу
здесь, в старинных улочках темных,
где зажмурились окна слепо,
где чернеют кресты костелов
в угловатых прорезях неба.
Где на стенах — теней сплетенья,
где коты по дворам мяучат,
где любой закоулок мучит
ощущением свиденья...

— Сердце, сердце,
ну что с тобою?

Отчего ты дрожишь, тоскуя?

— Отчего? Вон поодаль двое,

рядом, вместе,

в полночь такую!

Не с укором, нет,

не с обидою

я завидую, так завидую

этой тихости, этой нежности,

этих слитных шагов неспешности,

этой робости

возле пропасти...

Вот ее меховую шубку

он погладил как будто в шутку,

а она молчит и не дышит,

и боится пошевелиться,

и ресницы поднять боится,

как стучит его сердце, слышит...

Я кричу: да взгляни, взгляни же,

кинься вниз головой с обрыва!

Наклонись же ты к ней поближе,

посмотри в глаза молчаливо.
Да вздохните же, обнимитесь...
Или вы полета боитесь?
— Сердце, сердце,
о чем ты это?
Неужели опять сначала?
Я ж велю, чтобы ты молчало,
говорю тебе — песня спета!
Мало ль что нам с тобою хочется
в этом городе снов и вымысла...

Я брожу по ночному Вильнюсу
и не думаю про одиночество,
потому что его не вынесу.

УТРО

Снег не хлопьями падал —
комками
драгоценно и смутно блестел.
Снег над нами летел,
над веками,
снег из вечности в вечность
летел...

А река была черной и быстрой
с чешуею на гибкой спине,
и костра одинокая искра
красным глазом
мерещилась мне...

Напрямик, без дорог, без указки,
сердца гром утишая в груди,
мы прошли по владениям сказки,
и остались они
позади.

Утро было безжалостно-трезвым
ветер низкие гнал облака,
город был ледяным и железным,
снег был снегом,
рекою река.

ЗИМА, ЗИМА...

Полна зеленых, синих звезд
над миром ночь высокая.
Зима, зима — на сотни верст,
железная, жестокая.
Снега пронзительно блестят,
и по-стеклянному хрустят,
и нестерпимо грустно
от блеска и от хруста,
и оттого, что люди спят,
и оттого, что травы спят,
и спит земля, и спят дома,
и ты в каком-то доме спишь,
и у тебя там гладь да тишь.
Ты спишь с ладонью под щекой.
Пусть так! Бери себе покой!
Отныне мы разделены
не расстояниями страны, —
разделены стеной беды,
покою неудобной,
всем существом своим чужды,
как сытый и голодный,
как спящий и неспящий,
лежащий и летящий,
разделены с тобой,
как мертвый и живой...
Полна зеленых, синих звезд
над нами ночь высокая.
Зима, зима — на сотни верст.
Железная.
Жестокая.

В АЭРОПОРТУ

В холодном, неуютном зале
в пустынном аэропорту
слежу тяжелыми глазами,
как снег танцует на ветру.
Как на стекло лепя заплатки,
швыряет пригоршни пера,
как на посадочной площадке
раскидывает веера.
На положении беглянки
я изнываю здесь с утра.
Сперва в медпункте валерьянки
мне щедро выдала сестра.
Затем в безлюдном ресторане,
серьгами бедными блеща,
официантка принесла мне
тарелку жирного борща.
Из парикмахерской вразвалку
прошел молоденький пилот...
Ему меня ничуть не жалко,
но это он меня спасет.
В часы обыденной работы,
февральский выполняя план,
меня на крыльях пронесет он
сквозь мертвый белый океан.
Друзья мои, чужие люди,
благодарю за доброту.
...Сейчас вздохну я полной грудью
и вновь свободу обрету.
Как хорошо, что все известно,
что ждать не надобно вестей.

Благословляю век прогресса
и сверхвысоких скоростей.
Людской благословляю разум,
плоды великого труда
за то, что можно
так вот, разом,
без слов, без взгляда,
навсегда!

* * *

Ты не любишь считать
облака в синеве.
Ты не любишь ходить
босиком по траве.
Ты не любишь
в полях паутин волокно,
ты не любишь,
чтоб в комнате
настежь окно,
чтобы настежь глаза,
чтобы настежь душа,
чтоб бродить не спеша
и грешить не греша...
Все бывало иначе
когда-то, давно.
Много власти
любовью мне было дано!
Что же делать теперь?
Помоги, научи.
На замке твоя жизнь,
потерялись ключи.
А моя на исходе —
улетают года.
Неужели не встретимся
никогда?

* * *

Многое я люблю:
в пору зноя и духоты
с наслаждением воду лью
на привянувшие цветы,
и когда сорняки пою,
улыбаюсь я и пою.
Ветер в окна
люблю впускать
и угрюмых дворняг ласкать,
подарки люблю дарить,
радость люблю творить,
люблю еще с детских лет
зажигать вечерами свет...
А вот целую тебя,
а в глазах твоих
света нет.
Погляжу в глаза — темнота...
А душа-то во мне все та:
люблю подарки дарить,
радость люблю творить,
не могу по-другому жить.

* * *

Десанке Максимович

Все кончается на свете...
Где-то мчится поезд твой
и в окно влетает ветер,
теплый ветер
полевой.
За окном — столбов мельканье,
полустанки и мосты.
Осыпаются в стакане
подмосковные цветы.

Вероятно, дремлешь ты.
Звезды тихие повисли,
льется сумеречный дым,
и уже другие дали,
и уже другие люди,
и уже другие мысли
завладели сном твоим.
Пусть тебе спокойно спится!
Так и надо.
Так и надо.

Но не стану я таиться —
я ревную и грущу,
я с тобою на границе
расставаться не хочу,
я твое родное сердце
от себя не отпущу.

Я сказать могла бы много:
что у нас одна дорога,
что у нас одни мечты,
что в одно с тобою верим,

о одною меркой мерим
счастье наше —
я и ты...
Но к словам предубежденье
у меня живет в крови.
Даже в грустный час прощанья
я смогла сберечь молчанье,
до последнего мгновенья
я не выдала любви.

До чего же сердце наше
с расстояньями в разладе.
Счастье, полное печали,
мне покоя не дает...

За горами, за лесами
есть какой-то дом в Белграде —
там сестра моя
живет.

СТИХИ О БУМАЖНОМ ЗМЕЕ

Мальчишка из дранок, бумаги и клея
с утра мастерил длиннохвостого змея...
А к вечеру ветер стал хлеще и круче,
над медной рекой закурчавились тучи,
и нитка, размотанная до предела,
басовой струною в руке загудела.
О, как он взмывал в облака,
как без страха
в клокочущий воздух кидался с размаха!..
На спинке костлявой лучи пламенели,
а где-то бежали домишки и ели,
и люди глядели, как пятнышком алым
над полем погасшим летал и плясал он...
Потом потемнело, и возле оврага
упала на землю простая бумага.
А мальчику снились всю ночь до рассвета
багровые тучи и музыка ветра,
всю ночь наслаждался он дерзким полетом
и в хмурое утро проснулся пилотом.

СТАРАЯ СКАЗКА

Тихо в доме.
Засыпает стекла
белая колючая пурга...
Постарела Золушка,
поблекла,
почернели камни очага.
Как давно... А будто бы сегодня:
бал, огни, полуночный побег...
Почему же туфельку не поднял
тот красивый, добрый человек?
Ты уже смирилась, песня спета.
Но ведь где-то музыка гремит,
но ведь тот дворец сияет где-то...
Слышишь, это счастье говорит!
Только пусть душа твоя не ленится,
рученьки рабочие не ленятся,
печь топи да выгребай золу...
Умница-разумница,
смиреница,
перемелется, все
переменится,
я тебя еще на праздник позову.
Я сорву с тебя отрепья жалкие,
кудри спутанные расчесу,
подарю на пальцы кольца жаркие,
лучшими духами надушу...
Золушка, голубушка,
за тыщи
верст,
в потерянном тобой краю,
тот красивый, добрый

ходит, ищет
латаную тапочку твою...

· · · · ·
Гуще тени, приглушенной звуки,
за окном — снега, снега, снега...
Золушка
натруженные руки
согревает возле очага.

* * *

Еще не в состоянии войны,
но, наглухо замкнув уже границу,
живем, как две враждебные страны,
и каждая соседственной боится.
Мы, клявшиеся в верности до гроба,
теперь из опасения измен
давно уж ничего друг другу оба
не отдаем и не берем взамен.
Но облака не признают границы,
дожди одни и те же мочат нас,
воспоминанья — ветреные птицы —
взад и вперед летают по сто раз...
Противоречат принципам природы
любые пограничные столбы:
везде сочатся почвенные воды,
корнями разрастаются дубы...
Что может быть печальнее судьбы,
когда врагами делаются двое?
И неужели это мы с тобою —
тупого недоверия рабы?
Кто первым нашу жизнь разгородил,
траншею на лугу цветущем вырыл?
Кто по обочинам ромашки вырвал?
Кто наш ручей веселый запрудил?
Проходят дни, тревожны и пусты.
Страшны они в своем движении мерном.
Так кто же первым уберет посты?
Кто полосатый столб повалит первым?

III

* * *

Жизнь твою читаю,
перечитываю,
все твои печали
пересчитываю,
все твои счастливые улыбки,
все ошибки,
всех измен улики...
За тобой,
не жалуясь, не сетуя,
всюду следую
по белу свету я,
по небесным и земным
маршрутам,
по годам твоим
и по минутам...
Ничего я о тебе не знаю!
Разве лес —
прогалина лесная?
Разве море —
только ширь морская?
Разве сердце —
только жизнь людская?

* * *

Шкатулка заперта.
И ключ потерян.
И в общем в нем нужды особой нет:
союз двоих
испытан и проверен
и узаконен целым рядом лет.
Давно к листкам
никто не прикасается,
не беспокоит давнюю судьбу.
И спит любовь,
как спящая красавица
в своем отполированном гробу.

* * *

Всегда так было
и всегда так будет:
ты забываешь обо мне порой,
твой скучный взгляд
порой мне сердце студит...
Но у тебя ведь нет такой второй!
Несвойственна любви красноречивость,
боюсь я слов красивых как огня.
Я от тебя молчанью научилась,
и ты к терпенью
приучил меня.
Нет, не к тому, что родственно бессилью,
что вызвано покорностью судьбе,
нет, не к тому, что сломанные крылья
даруют в утешение тебе.
Ты научил меня терпенью поля,
когда земля суха и горяча,
терпенью трав, томящихся в неволе
до первого весеннего луча,
ты научил меня терпенью птицы,
готовящейся в дальний перелет,
терпенью всех, кто знает,
что случится,
и молча неминуемого ждет.

* * *

Ни в каких не в стихах, а взаправду
ноет сердце — лечи не лечи,
даже ветру и солнцу не радо...
А вчера воротились грачи.
Не до солнца мне,
не до веселья.
В книгах,
в рощах,
в поверьях,
в душе
я ищу приворотного зелья,
хоть в него и не верю уже.
Я сдаваться сперва не хотела,
покоряться судьбе не могла,
говорила:
«Любовь улетела»,
а теперь говорю:
«Умерла».
Умерла, не глядит, и не дышит,
и не слышит, как плачу над ней,
как кричу ее имя,
не слышит,
бездыханных камней ледяней.
А грачи все равно прилетели
и возводят свои города...
Я ищу приворотного зелья,
а нужна-то
живая вода.

* * *

И вот опять со мною одиночество,
которому конца уже не будет.
Любимый поцелуем не разбудит.
Ему бродить со мною не захочется,
рвать для меня кувшинки не захочется.
«Жарища нынче!» —
скажет и поморщится.
«Поедем завтра», — скажет
и забудет.
...Ах, жизнь моя, как страшно ты поблекла.
...А где же золотая паутина?
А где же разноцветные волокна?
Ты стала пыльной, серой, узловатой...
Сама я, видно, в этом виновата.
Вокруг меня как будто бы ограда
чужих надежд, любви, чужого счастья...
Как странно — все без моего участия,
как странно — никому меня не надо.
Как странно — я со всем живым в разлуке...
Зачем же ноги сильные и руки?
И эта любящая солнце кожа?
Глаза, такие жадные до красок?
Зачем мое горячее, живое,
любовью переполненное сердце —
все сто даров прекрасных и напрасных?
О, как я ненавижу одиночество,
как презираю слабость и усталость!
Поэзия — подруга и помощница,
как хорошо, что ты со мной осталась!
Мы сядем рядом, близко... вечер длинный...
НЗ — запас откроем аварийный
соленых слез и сладостных улыбок,
достанем горький мед воспоминаний,
раздумья о грядущем хлеб насущный,

хмель поцелуев, ароматы детства...

Скажи: куда могло все это деться?

А никуда не делось. Все осталось.

Все роздано, раздарено...

И люди

все сберегут — любовь твою, усталость,

надежды, радость... даже одиночество,

которому конца уже не будет.

* * *

Зову, упрекаю, надеюсь и спору,
молю, обвиняю, прощаю, клянусь...
И горе мое —
настоящее горе,
во всю ширину
и во всю глубину!
Я в счастье не верю.
Так замаятью снежной
не верят в сирень, в стрекотанье,
в дожди...
А все-таки будет.
Придет.
Неизбежно.
Не хочешь — не верь,
не умеешь — не жди.
А все-таки будет.
И с тою же страстью
я счастьем в глаза
изумленно взгляну,
и будет оно,
настоящее счастье,
во всю ширину
и во всю глубину!

* * *

Так было, так будет
в любом испытанье:
кончаются силы,
в глазах потемнело,
уже иступленье,
смятенье,
метанье,
свинцовою тяжестью
смятое тело.
Уже задыхается сердце слепое,
колотится бешено и бестолково
и вырваться хочет
ценою любовью,
и нету опасней
мгновенья такого.
Бороться так трудно,
а сдаться так просто,
упасть и молчать,
без движения лежа...
Они ж не бездонны —
запасы упорства...
Но дальше-то,
дальше-то,
дальше-то что же?
Как долго мои испытания длятся,
уже непосильно борение это...
Но если мне сдаться,
так с жизнью расстаться,
и рада бы выбрать,
да выбора нету!
Считаю не на километры — на метры,
считаю уже не на дни — на минуты...
И вдруг полегчало!
Сперва неприметно.

Но сразу в глазах посветлело
как будто!
Уже не похожее на трепыханье
упругое чувствую
сердцебиенье...
И, значит, спасенье —
второе дыхание.
Второе дыхание.
Второе рожденье!

* * *

Счастли́во и необъяснимо
происходящее со мной:
не радость, нет — я не любима —
и не весна тому виной.
Мир непригляден, бесприютен,
побеги спят,
и корни спят,
а я не сплю,
и день мой труден,
и взгляд мне горести слепят...
Я говорю с тобой стихами,
остановиться не могу.
Они как слезы, как дыханье,
и, значит, я ни в чем не лгу...
Все, что стихами, — только правда,
стихи как ветер, как прибой,
стихи — высокая награда
за все, что отнято тобой!

* * *

А знаешь, все еще будет!
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает,
и встретиться нас заставит,
и еще меня на рассвете
губы твои разбудят.
Понимаешь, все еще будет!
В сто концов убегают рельсы,
самолеты уходят в рейсы,
корабли снимаются с якоря...
Если б помнили это люди,
чаще думали бы о чуде,
реже бы люди плакали.
Счастье — что оно? Та же птица:
упустишь и не поймает.
А в клетке ему томиться
тоже ведь не годится,
трудно с ним, понимаешь?
Я его не запру безжалостно,
крыльев не искалечу.
Улетаешь?
Лети, пожалуйста...
Знаешь, как отпразднуем
встречу!

Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ДОБРА!

Улыбаюсь, а сердце плачет
в одинокие вечера.
Я люблю тебя.
Это значит —
я желаю тебе добра.
Это значит, моя отрада,
слов не надо,
и встреч не надо,
и не надо моей печали,
и не надо твоей тревоги,
и не надо, чтобы в дороге
мы рассветы с тобой встречали.
Вот и старость вдали маячит,
и о многом забыть пора...
Я люблю тебя.
Это значит —
я желаю тебе добра.
Значит, как мне тебя покинуть,
как мне память из сердца вынуть,
как не греть твоих рук озябших,
непосильную ношу взявших?
Кто же скажет, моя отрада,
что нам надо,
а что не надо,
посоветует, как же быть?
Нам никто об этом не скажет,
и никто пути не укажет,
и никто узла не развяжет...
Кто сказал, что легко любить?

* * *

Жизнь обмелела.
Медленна. Узка.
События среди ее покоя:
прилет скворца,
рождение листка...
Ну что же, с каждым
может быть такое.
А небо все синей и горячей,
и воздух полон распрями грачей.
Вот бабочка вспорхнула из-под ног,
как будто вспыхнул белый огонек.
А вот и прошлогодняя трава, —
она, оказывается, жива!
Красноголовый дятел на сосне
печатает приветствие весне.
Вот так я и живу.
А что, нельзя?
Пуškai не беспокоятся друзья —
я просто отдыхаю от печали,
брожу по лесу,
греюсь под лучами
и думаю...
И крепко сплю ночами,
и не спешу приблизить милый срок
ночных бессонниц
и счастливых строк.
Нет, для меня затишье чувств
не бремя,
я не страшусь молчания души,
все, все придет,
когда настанет время.
Тогда спешу —
не спи! Люби! Пиши!

* * *

Сколько дней
не спалось,
не елось,
не плакалось мне,
не пелось,
не работалось,
не гулялось, —
все в душе своей
разбиралась.
Раздала что было хорошего,
что не нужно —
на свалку брошено,
подмела свою душу
дочиста,
настоящее одиночество.
Настежь окна,
свежо в груди...
Вот теперь давай
приходи!

* * *

Хмурую землю
стужа сковала,
небо по солнцу
затосковало.
Утром темно,
и в полдень темно,
а мне все равно,
мне все равно!
А у меня есть любимый, любимый,
с повадкой орлиной,
с душой голубиной,
с усмешкою дерзкой,
с улыбкою детской,
на всем белом свете
один-единый.
Он мне и воздух,
он мне и небо,
все без него бездыханно
и немо...
А он ничего про это не знает,
своими делами и мыслями занят,
пройдет и не взглянет,
и не оглянется,
и мне улыбнуться
не догадается.
Лежат между нами
на веки вечные
не дальние дали —
года быстротечные,
стоит между нами

не море большое —
горькое горе,
сердце чужое.
Вовеки нам встретиться
не суждено...
А мне все равно,
мне все равно,
а у меня есть любимый, любимый!

САМОЛЕТЫ

Запах леса и болота,
полночь, ветер ледяной...
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.

Пролетают рейсом поздним,
рассекают звездный плес,
пригибают ревом грозным
ветки тоненьких берез.

Полустанок в черном поле,
глаз совиный фонаря...
Сердце бродит, как слепое,
в поле без поводья.

Обступает темень плотно,
смутно блещет путь стальной...
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.

Я устала и продрогла,
но ведь будет, все равно
будет дальняя дорога,
будет все, что суждено.

Будет биться в ровном гуле
в стекла звездная река,
и дремать спокойно будет
на моей твоя рука...

Можно ль сердцу без полета?
Я ли этому виной?
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.

* * *

Нам двоим посвященная,
очень краткая,
очень долгая,
не по-зимнему черная,
ночь туманная, волгая,
неспокойная, странная...
Может, все еще сбудется?
Мне — лукавить не стану —
все глаза твои чудятся,
то молящие, жалкие,
то веселые, жаркие,
счастливые,
изумленные,
рыжевато-зеленые.
Переулки безлюдные,
непробудные улицы...
Мне — лукавить не буду —
все слова твои чудятся,
то несмелые, нежные,
то тревожные, грешные,
простые,
печальные
слова прощальные.
Эхо слышу я древнее,
что в полночи будится,
слышу крови биение...
Может, все-таки сбудется?
Ну, а если не сбудется,
разве сгинет, забудется
тех мгновений течение,
душ заблудших свечение?

ПРОБУЖДЕНИЕ

Раскрываю глаза,
и сразу —
та, последняя фраза,
последнее то молчанье,
последний взгляд, на прощанье.
И сразу
горячей волною
сердце мое зальется,
и сразу
пол подо мною,
как на море, покачнется...
И опять я веки зажмурю,
и опять в дорогу отправлюсь,
благословляя бурю,
с которой никак не справлюсь.
Говорят, погибают в море
с волнами в рукопашной...
Ну и что?
Подумаешь, горе!
На свете одно мне страшно —
страшно: а вдруг
ту полночь
ты по-другому
помнишь?

* * *

Я пенять на судьбу не вправе,
годы милостивы ко мне...
Если молодость есть вторая —
лучше первой она вдвойне.
Откровеннее и мудрее,
проницательней и щедрей.
Я горжусь и люблюсь ею —
этой молодостью моей.
Та подарком была, не боле,
та у всех молодых была.
Эту я по собственной воле,
силой собственной добыла.
Я в ее неизменность верю
оттого, что моя она,
оттого, что душой своею
оплатила ее сполна!

КАКАЯ БЫВАЕТ ОСЕНЬ

Шли тучи развернутым фронтом,
лиловые,

рыжие,

черные,

взметались до горизонта
листья раззолоченные,
летели тучи в три яруса
под рваными парусами,
ливни рушились яростно
белыми полосами...

Люди в испуге жались
у овощных палаток,
на небе зажигались
и гасли обломки радуг,
крыши слепили блеском,
асфальт голубел невинно,
бой затихал небесный
на перерыв недлинный.
В лотках, просыхая, зябли
груды желтого винограда,
ряды глянцевитых яблок,
арбузов литые ядра...

.

Отчего, кого мы ни спросим:
«Какая бывает осень?» —
отвечают:

«Серая.

Хмурая»,

в крайнем случае: «Золотая».
Почему никто не ответит,
что бывает еще на свете

осень черная и лазурная,
сумасшедшая осень, бурная,
солнцем с ливнями залитая...
Нет, не тихая и холодная
с небосводом туманно-блеклым,
вот такая же сумасбродная
осень моя
недалеко.

ПТИЦЫ, ЛИСТЬЯ И СНЕГ

Утром как с цепи сорвался
ветер,

небо одел свинцом.

Наш дуб облетел
и сам не заметил,
и, значит, дело с концом!

По огромной спирали
все выше, выше
сухие листья летят,
летят выше веток
и выше крыши,
в облака улететь хотят.

Ветер вновь их сгребает, швыряет охапки,
попробуй с ним поборись!

У голубей застывают лапки,
стая шумно взлетает с карнизов ввысь.

Ветер гонит их по косой,
все выше,
комкает их, бесшабашно-лих,
им небо навстречу
холодом дышит
и роняет белые звезды на них.

Это осень с зимой
сошлись в поднебесье,
там, где вьюги берут разбег,
там, где в сумерках сизых
летают вместе
листья, птицы и снег.

IV

ЗЕМЛЯ

Хочу, чтоб не вязкий асфальт,
не камни,
чтобы, грея, дыша, пыля,
она была у меня под ногами —
живая моя земля.
Земля, которая расцветает
и потом становится старой,
и знамена зеленые развеивает
и одевается в траур.
Которая прячет растений корни
и родниковое серебро,
земля, которая поит нас,
кормит
и умеет платить добром за добро.
Хочу, чтобы сено
с томительным запахом донника,
чтобы теплое, пенное
молоко из подойника,
не из полулитровок
с цветными жестянками:
«вторник», «среда», «четверг»...
Чтобы стадо пылило,
и ведра звякали,
и закат за полями мерк.
Чтобы месяц светил медово
сквозь щели на сеновал,
чтоб за перегородкой
протяжно вздыхала корова,
чтобы первый петух
далеко-далеко запевал.
Чтобы рядом сердце стучало
близкое,

самое близкое на земле!
Неужели это кровь материнская
покоя не может найти во мне?
Мне все тот незнакомый домишко чудится
и зажженные тихой зарей поля...
Неужели же встреча эта не сбудется,
дорогой человек мой...
Моя земля...

* * *

Морозный лес.
В парадном одеянье
деревья-мумии, деревья-изваянья...
Я восхищаюсь этой красотой,
глаз не свожу,
а сердцем не приемлю.
Люблю землю пахнущую землю
и под ногой
листья упругий слой.
Люблю кипенье, вздохи, шелест, шорох,
величественный гул над головой,
брусничники на рыжих косогорах,
кочкарники с каемчатой травой...
Труд муравьев, и птичьи новоселья,
и любопытных белок беготню...
Внезапной грусти,
шумного веселья
чередованье
по сто раз на дню.
Люблю я все, что плещется, струится,
рождается, меняется, растет,
и старится,
и смерти не боится...
Не выношу безжизненных красот!
Когда январским лесом прохожу я
и он молчит,
в стоцветных блестках сплошь,
одно я повторяю, торжествуя:
«А все-таки ты скоро оживешь!»

ВЬЮГА

Вьюга...
Вслушайся —
слово-то, слово какое!
Вьюга...
Что-то гудящее, вихревое.
Вьюга —
пламени белого полыханье,
вьюга —
это когда не хватает дыханья,
вьюга —
это когда шатает, как пьяного,
вьюга —
это когда рождаешься заново.
Соловьи не по возрасту нам,
как видно,
нам вздыхать при луне
как-то вроде бы стыдно,
пусть уж юность томится
от нежности робкой,
пробираясь в обнимку
росистой тропкой...
Нам с тобой
задышаться от вечной тревоги,
нам с тобой не бояться,
что нету дороги,
пробиваться меж гребней кипящих
упорно,
двум пловцам неразумным,
дождавшимся шторма.
Вьюга...

Слышишь, как мечется, пляшет и бесится,
застя в небе
белесое пятнышко месяца,
как над нами хохочет,
толкает друг к другу,
выпускать нас не хочет
из пенного круга...
Вьюга... вьюга...

НОЧЬ ПОДМОСКОВНАЯ

Снегом одета,
молчаньем скована
зимняя, звездная ночь
подмосковная.
Только попробуй получше прислушаться —
сразу молчание ночи нарушится:
сразу возникнут
шелесты дальние,
скрипы морозные,
звоны хрустальные...
В воздухе носятся шорохи странные —
то ли гуляет Большая Медведица,
то ли за дело взялась гололедица,
ветки в чехольчики прячет
стеклянные?
Странные шорохи в воздухе носятся...
Слышишь, как иней с ресниц осыпается?
Слышишь, как сердце мое задышается,
в руки твои горячие
просится?

НА РАССВЕТЕ

Не пришел ты.
Я ждала напрасно.
Ночь проходит... День на рубеже...
В окна смотрит пристально и ясно
небо, розоватое уже.
Кошки бродят у пожарных лестниц,
птица сонно голос подает.
На антенне спит ущербный месяц,
с краешка обтаявший, как лед.
Ты назавтра скажешь мне при встрече:
— Милая, пожалуйста, прости!
Я зашел с товарищем на вечер,
задержался и не смог прийти.
Ты не очень сердишься?
— Не очень.—
И уйду, попреков не любя.
...Все-таки мне жалко этой ночи,
что ее ты отнял у себя.

* * *

Как счастье внезапное — оттепель эта.
Весны дуновеньем земля обогрета.
Еще не начало весны, а предвестье,
и даже еще не предвестье — намек,
что будет,
что рядом,
что срок недалек.
Нет, эти приметы меня не обманут:
совсем по-особому
грустно до слез,
как самый последний оставшийся мамонт,
трубит в одиночестве
электровоз.
Промчался гудок
и за далями сгинул,
и стихло в ночи тарахтенье колес,
и город
молчанье, как шапку, надвинул,
и явственно стало дыханье берез.
Они, возле окон на цыпочках стоя,
глядят любопытно...
Я чувствую их.
Я слышу, как бьется их сердце простое,
как соки пульсируют в почках тугих.
Вот с крыши сосулька обрушилась вниз,
ударилась вдребезги о карниз,
хрустальная дробь раскатилась по жести —
и снова сторожкая долгая тишь...
Я знаю, я знаю: ты тоже не спишь,
ты слушаешь тоже,
мы слушаем вместе.
Как оттепель — близость внезапная эта.
Дыханием счастья душа обогрета.
Еще не начало, а только предвестье,
и даже еще не предвестье — намек,
что будет,
что рядом,
что срок недалек.

* * *

И живешь-то ты близко,
почти что бок о бок,
в одной из железобетонных коробок,
а солнца не видим,
а ветром не дышим,
а писем любовных
друг другу не пишем...
И как это так получилось нелепо,
что в наших лесах мы не бродим вдвоем,
из ладони не пьем,
ежевику не рвем,
на горячей поляне среди курослепа
не делим по-братски ржаного куска,
не падаем в теплое синее небо,
хватаясь беспомощно за облака.
И в зное полуденном,
в гомоне смутном
не дремлем усталые в холодке
и не слышим, как птицы наши
поют нам
на понятном обоим нам
языке...
Мы солнца не видим
и ветром не дышим,
никуда мы не выйдем,
ничего не услышим,
лишь звонок телефонный
от раза до раза
и всегда наготове
стандартная фраза
для приветствия,
для прощания...
Да еще напоследок
мгновение молчания.
Минута молчания.
Вечность молчания,
полная нежности
и отчаянья.

* * *

Все в доме пасмурно и ветхо,
скрипят ступени, мох в пазах...
А за окном — рассвет
и ветка
в аквамариновых слезах.
А за окном
кричат вороны,
и страшно яркая трава,
и погромыхиванье грома,
как будто валятся дрова.
Смотрю в окно,
от счастья плача,
и, полусонная еще,
щекою чувствую горячей
твое прохладное плечо...
Но ты в другом, далеком доме
и даже в городе другом.
Чужие властные ладони
лежат на сердце дорогом.
...А это все — и час рассвета,
и сад, поющий под дождем, —
я просто выдумала это,
чтобы побыть
с тобой вдвоем.

* * *

Ни особых событий,
никакого веселья
в этот будничный день
моего воскресенья.
День рождался из птичьей
на заре переключки,
из фабричных гудков
и гудков электрички...
Этот день вырастал
из кусочка картона
с прозаической надписью:
«Пятая зона»,
из нагретого солнцем
настила перрона
этот день вырастал
неуклонно, огромно.
Весь истыкан капелью,
пронизан лучами,
перерос он
обида моя и печали.
Он еловыми лапами
обнял мне плечи,
и ушло мое горе
далёко-далече.
А ведь я никого
ни о чем не просила...
За тепло твое,
сердце людское,
спасибо!

* * *

Что-то мне недужится,
что-то трудно дышится...
В лугах цветет калужница,
в реке ветла колышется,
и птицы, птицы, птицы
на сто ладов поют,
и веселятся птицы,
и гнезда птицы вьют.
...Что-то беспокойно мне,
не легко, не просто...
Стремительные, стройные
вокруг поселка сосны,
и тучи, тучи, тучи
белы как молоко,
и уплывают тучи
далёко-далекó.
Да и меня никто ведь
в плену не держит, нет.
Мне ничего не стоит
на поезд взять билет
и в полночь на разъезде
сойти в глуши лесной,
чтоб быть с тобою вместе,
чтоб стать весне весной.
И это так возможно...
И это так нельзя...
Летит гудок тревожно,
как филин голоса,
и сердце, сердце, сердце
летит за ним сквозь мглу,
и горько плачет сердце:
«Как мало я могу!»

ШИШКА

Я в снегу подтаявшем,
около ствола,
гладенькую, мокрую
шишку подняла.
А теперь в кармане
я ее ношу,
выну, полюбуюсь,
лесом подышу.
Выну и порадуюсь,
что тогда, в лесу,
может быть, последнюю,
может, предпоследнюю,
а может быть, просто
встретила весну.
Там в снегу лосиные
глубокие следы,
как ведерки синие,
полные воды,
свежие проталины,
муравьи у пня,—
маленькие тайны
мартовского дня.

* * *

А знаешь ли ты? Когда мы
расстались с тобой вчера,
следом за мною прямо
влетела в двери пчела,
и, кружась по комнате тесной,
гудела, пела она,
как из самого сердца леса
протянутая струна.
Поверишь ли ты, как странно,
такой был час колдовской,
что даже вода из крана
пахла ночной рекой.
Сквозь веки, сжатые плотно,
та река мне видна была,
и комната, словно лодка,
покачиваясь плыла.

* * *

Сияет небо снежными горами,
гроздами округлых ярких туч.
Здесь тишина торжественна, как в храме,
здесь в вышине дымится тонкий луч.
Здесь теплят ели розовые свечи
и курят благовонную смолу.
Нам хвоя тихо сыплется на плечи,
и тропка нас ведет в густую мглу.
Все необычно этим летом странным:
и то, что эти ели так прямы,
и то, что лес мы ощущаем храмом,
и то, что боги в храме этом мы!

ДВОЕ НА МОСТУ

Я здесь девчонкой пробегала,
в кино с подружками спеша,
смущенной девушкой шагала,
и взрослой женщиною шла,
и каждый раз видала:
вместе,
рука в руке,
щека к щеке,
они стоят на том же месте
и на огни глядят в реке.
От лип струится сладость лета,
гудки стремятся в темноту...
Они стоят у парапета
на старом каменном мосту.
Плывут по небу тучи низкие,
дожди лениво моросят...
Они стоят такие близкие,
такие робкие стоят.
Кружат по свету вихри вьюжные,
черней чернил вода в реке...
Они стоят такие дружные,
щека к щеке,
рука в руке.
Туман рассвета... блики лунные...
осенний тихий звездопад...
Они стоят
такие юные,
такие вечные
стоят.

* * *

Это верно, конечно,
что в атомном веке
ни к чему человеку
трястись на телеге.
И автобусы —
горы металла и кожи —
в мир грядущего
тоже, пожалуй,
не вхожи.
И старик паровоз,
от копоти черный,
в тупике прозябает,
на слом обреченный,
и уже возле кассы
Аэрофлота
говорят,
что на «Иле» лететь
неохота.
И еще, покупая билет
на ракету,
кто-нибудь заворчит:
«Я ж просил не на эту!»
Много будет...
А все-таки каждый живущий,
каждый едущий,
каждый летящий,
плывущий
выйдет как-нибудь из дому
в утренней мгле
и пойдет по единственной
вечной земле.
И пойдет, зашагает
шуршащею чащей,
или гладью гудрона,

от ливня блестящей,
или в мягкой белесой пыли
утопая,
или ноги босые
во влажной отаве
купая...

Зашагает по отмели
плотно-песчаной,
по нагретой полуднем
колючей скале,
по прекрасной, суровой,
счастливой, печальной,
изначальной,
как сердце людское,
земле.

* * *

День был яркий, ветреный.
Шум кипел березовый.
В рощице серебряной
цвел татарник розовый.
Земля была прохладная,
влажная, упругая,
тучи плыли по небу
громоздкие, округлые...
Быть может, слишком часто я
зеленым брежу летом,
но если это счастье,
то как молчать об этом?
Если я такими
богатствами владею —
зачем же, зачем же
их спрячу от людей я?
Ссорятся влюбленные,
грустят, и невдомек им,
что есть края зеленые,
где все бывает легким.
А редко ли встречаются
хмурые, усталые,
вздыхают, огорчаются,
думают, что старые.
Ходят в поликлиники,
вздорят там с врачами...
А в чащах есть малинники,
овраги есть с ручьями.
Там есть трава и синева,
роса и запах тминный,
и стоит это целиком,
с водой, цветами, ветерком,
какой-нибудь полтинник.

И каждому, кто забредет
в лесное это царство,
от всех невзгод, от всех забот
отыщется лекарство.
Помнишь? День был ветреный,
шум кипел березовый,
в рощице серебряной
цвел татарник розовый...

Лирика
1963

* * *

О память сердца! Ты сильнее
Рассудка памяти печальной...

К. Батюшков

Память сердца! Память сердца!
Без дороги бродишь ты, —
луч, блуждающий в тумане,
в океане темноты.

Разве можно знать заранее,
что полюбится тебе,
память сердца, память сердца,
в человеческой судьбе?

Может, в городе — крылечко,
может, речка, может, снег,
может, малое словечко,
а в словечке — человек!

Ты захватишь вместо счастья
теплый дождь, долбящий жезл,
пропыленную ромашку
солнцу можешь предпочесть!..

Госпитальные палаты,
костылей унылый скрип...
Отчего-то предпочла ты
взять с собою запах лип.

И теперь всегда он дышит
над июньскою Москвой
той военною тревогой,
незабвенною тоской...

А когда во мгле морозной
красный шар идет на дно —
сердце бьется трудно, грозно, —
задыхается оно...

Стук лопаты, комья глины,
и одна осталась я...
Это было в час заката,
в первых числах января.

А когда в ночи весенней
где-то кличет паровоз,
в сердце давнее смятение,
счастье, жгучее до слез!

Память сердца! Память сердца!
Где предел тебе, скажи!
Перед этим озареньем
отступают рубежи.

Ты теплее, ты добрее
трезвой памяти ума...
Память сердца, память сердца,
ты — поэзия сама!

ОСЕНЬ В КРЫМУ

I

Ранняя нынче
осень в Крыму,
смутное море,
горы в дыму,
пухлые тучи,
дождем налиты,
переползают
через хребты.
Рыжий лишайник,
седая полынь,
ветки ломают
жгучий норд-ост,
только в ущельях —
тишь да теплынь,
свищет по-летнему
глупенький дрозд.
Впрочем, кто знает, —
глуп или нет,
кто разберет,
что у птиц на уме?
Может, и нам
не считать бы примет,
жить и не думать
о близкой зиме...
Ранняя нынче
осень в Крыму,
зябкое море,
дали в дыму...
Как мне живется
светло и легко,
а почему,
сама не пойму.

II

Норд-ост осенний с гор летел
и щеки жег румянцем.
Шиповник рыжий шелестел,
алея твердым глянцем.
И было гнездышко в кусте,
в колючей чаще ржавой.
Пять красных ягод
в том гнезде,
в сухой листве лежало...
Могли не верить лишь глупцы,
что совершится чудо,
что красноперые птенцы
проклюнутся оттуда.
Но мы с тобой не стали ждать
с надеждой и тревогой,
взглянули только
и опять
пошли своей дорогой.
Все представляю, как потом
снега на горы лягут,
как занесут в гнезде сухом
пять бездыханных ягод.

III

За валом вал
идет на берег,
бурля зеленым кипятком,
и каждый
в смерть свою не верит,
и каждый
падает ничком.
И, растекаясь пеной млечной,
сбегает медленно
с камней,
чтоб снова слиться
с глубиью вечной
и обрести бессмертье
в ней.

ТЕНЬ

Приглушает птичий гам
тишина еловая,
проплывает по снегам
тень моя лиловая.
На снегах и в облаках
синева прозрачная,
в белых пухлых башлыках
спят домишки дачные.
Тень идет сама собой,
в чащи забирается,
о штaketник голубой
пополам ломается...
Хоть сугробы глубоки —
просто нет возможности,
хоть навешены замки
из предосторожности,
залезает тень плечом
в окна золоченые,
тени сроду нипочем
зоны запрещенные...
Я шагаю колеей,
потная, усталая,
лед бугристый подо мной,
мешанина талая.
Ноги бедные мои
тяжелы немыслимо,
я от этой колеи
целиком зависима.
Поскользнувшись на ходу,
локоть тру с обидою,
тени, пляшущей в саду,
от души завидую!

* * *

Не сули мне
золотые горы,
годы жизни доброй
не сули.
Я тебя покину очень скоро
по закону матери-земли.
Мне остались считанные весны,
так уж дай на выбор,
что хочу:
елки сизокрылые, да сосны,
да березку — белую свечу.
Подари веселую дворняжку,
хриплых деревенских петухов,
мокрый ландыш,
пыльную ромашку,
смутное движение стихов.
День дождливый,
темень ночи долгой,
всплески, всхлипы, шорохи
во тьме...
И сырых поленьев запах волглый
тоже, тоже дай на память мне.
Не кори, что пожелала мало,
не суди, что сердцем я робка.
Так уж получилось, —
опоздала...
Дай мне руку!
Где твоя рука?

* * *

Шагаю хвойною опушкой,
и улыбаюсь, и пою,
и жестяной помятой кружкой
из родничка лесного пью.
И слушаю, как славка свищет,
как зяблик ссорится с женой,
и вижу гриб у корневища
сквозь папоротник кружевной...
Но дело-то не в певчих птицах,
не в роднике и не в грибе, —
душа должна уединиться,
чтобы прислушаться к себе.
И раствориться в блеске этом,
и слиться с этой синевой,
и стать самой
теплом и светом,
водой,
и птицей,
и травой,
живыми соками напиться,
земную силу обрести,
ведь ей века еще трудиться,
тысячелетия расти.

* * *

Я прощаюсь с тобою
у последней черты.
С настоящей любовью,
может, встретишься ты.
Пусть иная, родная,
та, с которою — рай,
все равно заклиная:
вспоминай! вспоминай!
Вспоминай меня, если
хрустнет утренний лед,
если вдруг в поднебесье
прогремит самолет,
если вихрь закурчавит
душных туч пелену,
если пес заскучает,
заскулит на луну,
если рыжие стаи
закружит листопад,
если за полночь ставни
застучат невпопад,
если утром белесым
закричат петухи,
вспоминай мои слезы,
губы, руки, стихи...
Позабыть не старайся,
прочь из сердца гоня,
не старайся,
не майся, —
слишком много меня!

* * *

А. Я.

Меня ты видел солнечной и ясной,
с неудержимой нежностью в глазах,
и некрасивой видел,
и прекрасной,
и в горестных
и в радостных слезах.
И удрученной видел,
и смущенной,
пониженной, постаревшей от тревог...
Ты только никогда
неосвещенной
меня не видел.
...И видеть не мог.

* * *

Мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
Больно многого хочешь,
нету людей таких.
Зря ты только морочишь
и себя и других!
Говорят: зря грустишь,
зря не ешь и не спишь,
не глупи!
Все равно ведь уступишь,
так уж лучше сейчас
уступи!
...А она есть.
Есть.
Есть.
А она — здесь,
здесь,
здесь,
в сердце моем
теплым живет птенцом,
в жилах моих
жгучим течет свинцом.
Это она — светом в моих глазах.
Это она — солью в моих слезах,
зрение, слух мой,
грозная сила моя,
солнце мое,
горы мои, моря!
От забвенья — защита,
от лжи и неверья — броня...
Если ее не будет,

не будет меня!
...А мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
А я никому души
не дам потушить.
А я и живу, как все
когда-нибудь
будут жить!

* * *

Пуškai лучше ты не вступишь меня,
чем я не открою двери.
Пуškai лучше ты обманешь меня,
чем я тебе не поверю.

Пуškai лучше я в тебе ошибусь,
чем ты ошибешься во мне.
Пуškai лучше я на дне окажусь,
чем ты по моей вине.

Пока я жива,
пока ты живой,
последнего счастья во имя,
быть солнцем хочу
над твоей головой,
землей —
под ногами твоими.

Сто часов счастья

1965

— Ты сам виноват, — сказал Маленький принц. — Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил...

— Да, конечно, — сказал Лис.

— Но ты будешь плакать!

— Да, конечно.

— Значит, тебе от этого плохо.

— Нет, — возразил Лис, — мне хорошо...

Сент-Экзюпери

* * *

Сто часов счастья...
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала,
собирала любовно, неутомимо,
по крупнице, по капле,
по искре, по блестке,
создавала его из тумана и дыма,
принимала в подарок
от каждой звезды и березки...
Сколько дней проводила
за счастьем в погоне
на продрогшем перроне,
в гремящем вагоне,
в час отлета его настигала
на аэродроме,
обнимала его, согревала
в нетопленном доме.
Ворожила над ним, колдовала...
Случалось, бывало,
что из горького горя
я счастье свое добывала.

Это зря говорится,
что надо счастливой родиться.
Нужно только, чтоб сердце
не стыдилось над счастьем трудиться,
чтобы не было сердце
лениво, спесиво,
чтоб за малую малость
оно говорило «спасибо».

Сто часов счастья,
чистейшего, без обмана...
Сто часов счастья!
Разве этого мало?

* * *

Не знаю — права ли,
не знаю — честна ли,
не помню начала,
не вижу конца...
Я рада,
что не было встреч под часами,
что не целовались с тобой
у крыльца.
Я рада, что было так немо и прямо,
так просто и трудно,
так нежно и зло,
что осенью пахло
тревожно и пряно,
что дымное небо на склоны ползло.
Что сплетница сойка
до хрипу кричала,
на все побережье про нас раззвоня.
Что я ничего тебе
не обещала
и ты ничего не просил
у меня.
И это нисколько меня не печалит,—
прекрасен той первой поры неуют...
Подарков не просят
и не обещают,
подарки приносят
и отдают.

БЫЛИ ЖЕНЩИНЫ...

Мир в темноту еще был погружен,
а звезды эти жеплыли...
Был самый первый костер разожжен,
не было хижин,
не было жен, —
были женщины.
Их любили.
Любили дремучим сердцем своим
грубо и непорочно.
Глухой безымянной тоской по ним
томились денно и ночью.
Неискушенных детей земли
весна лишала покоя,
только понять они не могли —
что же это такое?
А загадка так и не решена,
до сих пор не найдут ответа,
почему вот эта тебе нужна?
Не та, а именно эта!
Сколько раз меняла лицо Земля,
сбрасывала уборы,
сколько раз поглощали сушу моря,
из морей поднимались горы,
а сердце все то же...
В сырых ночах,
в еще допотопной эре,
я — помнишь? — поддерживала очаг
в угрюмой твоей пещере.

* * *

Одна сижу на пригорке
посреди весенних трясин.
...Я люблю глаза твои горькие,
как кора молодых осин,
улыбку твою родную,
губы, высохшие на ветру...
Потому, — куда ни иду я,
и тебя с собою беру.
Все я тебе рассказываю,
обо всем с тобой говорю,
первый ландыш тебе показываю,
шишку розовую дарю.
Для тебя на болотной ржави
ловлю отраженья звезд...
Ты все думаешь — я чужая,
от тебя за десятки верст?
Ты все думаешь — нет мне дела
до озябшей твоей души?
Потемнело, похолодело,
зашуршали в траве ежи...
Вот уже и тропы заросшей
не увидеть в ночи слепой...
Обними меня, мой хороший,
бесприютные мы с тобой.

ЧЕРЕМУХА

Дурманящей, росистой чашею
черемуха —
дыши, гляди,
ласкай, ломай...
И боль щемая, —
как мало весен впереди!
А стоит ли уж так печалиться,
прощаясь с миром дорогим?
Ничто на свете не кончается,
лишь поручается другим.
Другим любовь моя завещана,
в других печаль моя горька...
Сто тысяч раз
другая женщина
все пронесет через века.
Ничто не пропадет, не минется.

Все праздничнее, все милей
цветет черемуха —
любимица
покойной матери моей.

* * *

Почему говорится:
«Его не стало»,
если мы ощущаем его
непрестанно,
если любим его,
вспоминаем,
если —
это мир, это мы
для него
исчезли.
Неужели исчезнут
и эти ели
и этот снег
навсегда растает?
Люди любимые,
неужели
вас
у меня не станет?

* * *

Дождик сеет, сеет, сеет,
с полуночи моросит,
словно занавес кисейный
за окошками висит.
А в лесу кричат кукушки,
обещают долгий век...
Мне не грустно
и не скучно,
я счастливый человек.
Из раскрытой настежь двери
пахнет глиной и травой.
А кукушкам я не верю,
врать кукушкам
не впервой!
Да и что считать без толку,
лишним годом дорожить?
Ну недолго,
так недолго,
только б счастливо прожить.
Так прожить,
чтоб все, что снится,—
все сбывалось наяву,
так прожить,
чтоб петь как птица,
так прожить,
как я живу!

* * *

Небо желтой зарей окрашено,
недалеко до темноты...
Как тревожно, милый,
как страшно,
как боюсь твоей немоты.
Ты ведь где-то живешь и дышишь,
улыбаешься, ешь и пьешь...
Неужели совсем не слышишь?
Не окликнешь? Не позовешь?
Я покорной и верной буду,
не заплачу, не укорю.
И за праздники,
и за будни,
и за все я благодарю.
А всего-то и есть:
крылечко,
да сквозной дымок над трубой,
да серебряное колечко,
пообещанное тобой.
Да на дне коробкá картонного
два засохших с весны стебля,
да еще вот — сердце,
которое
мертвым было бы
без тебя.

* * *

Без обещаний
жизнь печальней
дождливой ночи без огня.
Так не жалея же обещаний,
не бойся обмануть меня.
Так много огорчений разных
и повседневной суеты...
Не бойся слов —
прекрасных, праздных,
недолговечных, как цветы.
Сердца людские так им рады,
мир так без них
пустынно тих...
И разве нет в них
высшей правды
на краткий срок цветенья их?

СИНЯЯ ПТИЦА

Ты на рынке
мне купил голубку.
Маленькую,
худенькую,
хрупкую,
рыжевато-палевой окраски
птицу,
прилетевшую из сказки.
Вытащил помятую рублевку,
чтобы за покупку расплатиться...
Боже, как давно
и как далеко
я разыскивала
эту птицу.
Позади, без малого, полсвета,
скоро жизнь мою оденет иней..
А она была
совсем не синяя, —
рыжевато-палевого цвета.

* * *

Осчастливь меня однажды,
позови с собою в рай,
исцели меня от жажды,
подышать немного дай!
Он ведь не за облаками,
не за тридевять земель, —
там снежок висит клоками,
спит апрельская метель.
Там синее ельник мелкий,
на стволах ржавеет мох,
перепархивает белка,
будто розовый дымок.
Отливая блеском ртутным,
стынет талая вода...
Ты однажды
ранним утром
позови меня туда!
Я тебе не помешаю
и как тень твоя пройду...
Жизнь такая небольшая,
а весна — одна в году.
Там поют лесные птицы,
там душа поет в груди...
Сто грехов тебе простится,
если скажешь:
— Приходи!

ВАЛЬДШНЕП

Влетел он в полымя заката
и замелькал, и зачернел,
и не слышал,
как в два раската
гром над поляной прогремел.
Свинца горячие крупичицы
ударили наперерез,
и люди радовались птице,
упавшей на землю
с небес.
Среди осин и елей мрачных,
зарывшись в прошлогодний лист,
лежал крылатый неудачник,
весны подстреленный связист.
И длинный клюв
торчал, как шильце,
из горстки пестрого пера...
Кто знал, что этим завершится
весны любовная пора?
Какая радость им владела,
как жизнь была ему легка,
и как бы я его жалела,
когда б не гордость
за стрелка!

* * *

Бывают весны разными:
стремительными, ясными,
ненастными и грустными,
с облаками грузными...
А я была бы рада
всякой,
любой,
только бы, только бы, только бы
с тобой.
Только б ветки влажные,
талая земля,
только хоть однажды бы:
«Хорошая моя!»
Только хоть однажды бы
щекой к щеке
да гудки протяжные
вдалеке...

* * *

Это было где-то
далеко вначале:
как скворцы кричали!
Как скворцы кричали!
Как кружило голову
апрельское тепло,
как по лесу голому
блестело, текло...
Но апрель доверчивый
метелью замело.
Снова стало к вечеру
белым-бело.
Одни следы чернели
от ботинок моих,
скворцы закоченели
в домишках продувных...
Теперь они летают,
теплом дыша.
А вот душа не тает.
Не тает душа.

МАЯК

Море мое пустынно,
на море тишь да гладь...
Может быть, это стыдно —
так безнадежно ждать?

Напрасный огонь лучится,
виден издалека...
Я не могу отлучиться
с забытого маяка.

Я не могу отлучиться
ни на единый час:
вдруг что-нибудь случится
с тобой...
А огонь погас!

ЛЕТО

Как пахнет пыль, прибитая дождем,
как поле дышит
сладостно и вольно...
А в мире существуют смерть и войны,
тоска и одиночество вдвоем.
Разлука тоже существует в мире:
гудок... три красные огня вдали...
И телефон журчит в пустой квартире,
как будто где-то на краю земли.
Звонит — и ни ответа, ни привета.
Слой пыли на столе. Дверь заперта.
Какое нескончаемое лето...
Какая духота и маета...
Наверное, клянут меня соседи
за эти бесконечные звонки.
Пыль на столе. Хозяева в отъезде.
А где-то — жаворонки, васильки...

* * *

Быть хорошим другом обещался,
звезды мне дарил и города.
И уехал,
и не попрощался.
И не возвратится никогда.
Я о нем потосковала в меру,
в меру слез горячих пролила.
Прижилась обида,
присмирела,
люди обступили
и дела...
Снова поднимаюсь на рассвете,
пью с друзьями, к случаю, вино,
и никто не знает,
что на свете
нет меня уже давным-давно.

ДОМ МОЙ — В СЕРДЦЕ ТВОЕМ

I

Знаешь ли ты,
что такое горе,
когда тугою петлей
на горле?
Когда на сердце
глыбою в тонну,
когда нельзя
ни слезы, ни стона?
Чтоб никто не увидел,
избави боже,
покрасневших глаз,
потускневшей кожи,
чтоб никто не заметил,
как я устала,
какая больная, старая
стала...
Знаешь ли ты,
что такое горе?
Его переплыть
все равно что море,
его перейти
все равно что пустыню,
а о нем говорят
словами пустыми,
говорят:
«Вы знаете, он ее бросил...»
А я без тебя
как лодка без весел,
как птица без крыльев,
как растение без корня...
Знаешь ли ты, что такое горе?
Я тебе не все еще рассказала,—

знаешь, как я хожу по вокзалам?
Как расписания изучаю?
Как поезда по ночам встречаю?
Как на каждом почтамте
молю я чуда:
хоть строки, хоть слова
оттуда... оттуда...

II

Мне казалось, нельзя,
чтоб «Выхода нет».
А вот оказалось, случается.
На́ год,
на́ два,
на десять лет
выхода нет!
А жизнь не кончается.
А жизнь не кончается все равно,
а люди встречаются,
пьют вино,
смотрят кино,
в автобусах ездят,
ходят по улицам
вместе... вместе...
Называют друг друга:
«Моя!»,
«Мой!».
Говорят друг другу:
«Пойдем домой!»
Домой...
А ты мне: «Куда пойдем?»
У бездомных разве бывает дом?

III

Дом — четыре стены...
Кто сказал, что четыре стены?
Кто придумал, что люди
на замок запираются должны?
Разве ты позабыл,
как еловые чащи темны
и какие высокие звезды

для нас зажжены?
Разве ты позабыл, как трава луговая
мягка,
как лодчонку рыбацью
качает большая река,
разве ты позабыл
полыханье и треск
сушняка?
Неужели так страшно,
если нет над тобой
потолка?
Дом — четыре стены...
Ну, а если у нас их нет?
Если нету у нашего дома
знакомых примет,
ни окна, ни крыльца,
ни печной трубы,
если в доме у нас
телеграфные стонут столбы,
если в доме у нас,
громыхая, летят поезда?..
Ни на что, никогда
не сменяю я этой судьбы,
в самый ласковый дом
не войду без тебя
никогда.

IV

Помню первую осень,
когда ты ко мне постучал,
обнимал мои плечи,
гладил волосы мне
и молчал...
Я боялась тебя,
я к тебе приручалась с трудом,
я не знала, что ты
мой родник,
хлеб насущный мой,
дом!
Я не знала, что ты —
воскресение, родина, свет!..
А теперь тебя нет,

и на свете приюта мне нет!

.

Ты не молод уже,

мой любимый?..

А я молода?

Ты устал, мой любимый?..

А я? — хоть бы день без труда,

хоть бы час без забот...

Все равно —

в самый ласковый дом

без тебя не войду...

Дом мой — это с тобою вдвоем,

дом мой — в сердце твоём!

Ты не думай, я смелая,

не боюсь ни обиды, ни горя,

что захочешь —

все сделаю, —

слышишь, сердце мое дорогое?

Только б ты улыбался,

только б прежним собой

становился,

только б не ушибался,

как пойманный сокол не бился...

...Знаешь ли ты,

что такое горе?

Его переплыть

все равно что море,

его перейти

все равно что пустыню,

да ведь нет другой дороги

отныне,

и нашлась бы — так я не пойду

другую...

Знаешь ли ты,

что такое горе?

.

А знаешь ли ты,

что такое счастье?

* * *

Всех его сил проверка,
сердца его проверка,
чести его проверка, —
жестока, тяжка, грозна,
у каждого человека
бывает своя война.
С болезнью, с душевной болью,
с наотмашь бьющей судьбой,
с предавшей его любовью
вступает он в смертный бой.
Беды, как танки, ломаются,
обида рубят сплеча,
идут в атаки бессонницы,
ночи его топча.
Золой глаза запорошены, —
не видит он ничего,
а люди: «Ну, что хорошего?» —
спрашивают его.
А люди — добрые, умные
(господи им прости) —
спрашивают, как думает
лето он провести?
Ах, лето мое нескончаемое,
липкие худенькие мои,
городские мои, отчаянные,
героические соловьи...
Безрадостных дней кружение,
предгрозовая тишина.
На осадное положение
душа переведена.
Только б, в сотый раз умирая,
задыхаясь в блокадном кольце,
не забыть —
Девятое мая
бывает где-то в конце.

УТРО

Вся ночь без сна...
А после, в роще,
березовая тишина,
и всё приемлемее, проще,
и жизнь как будто решена.
Боль приглушенной, горе выше,
внимательней душа моя...
Я в первый раз воочью вижу:
не солнце движется —
земля.
Налево клонятся березы,
налево падают кусты,
и сердце холодеет грозно
на кромке синей пустоты.
Всё так ничтожно — ссоры, споры,
все беды и обиды все.
Еще пустынно, знобко, сонно,
трава купается в росе.
Шмелиной музыке внимаю,
вникаю в птичью кутерьму...
Я прозреваю, понимаю,
еще чуть-чуть —
и все пойму.

ПИСЬМО

Просто синей краской на бумаге
неразборчивых значков ряды,
а как будто бы глоток из фляги
умирающему без воды.
Почему без миллионов можно?
Почему без одного нельзя?
Почему так медлила безбожно
почта, избавление неся?
Наконец-то отдохну немного.
Очень мы от горя устаем.
Почему ты не хотел так долго
вспомнить о могуществе своем?

* * *

Раскаленное,
цвета платины
небо с грудями облаков,
на зыбучем асфальте
вмятины
остаются от каблуков.
Листья пыльные не колышутся,
все труднее к закату дышится,
сердце сдавливает тоской
беспощадный зной
городской.
Не кончается день томительный
духоты и труда нелегкого...
Человек ты мой удивительный,
что ты бродишь вокруг да около?
Дай мне руки твои хорошие...
Хочешь, правду тебе открою?
Не принцесса я на горошине,
и взбредет же на ум такое!
Ни к чему мне улыбки льстивые,
не нужны мне слова красивые,
из подарков хочу одно я —
сердце твое родное.
Хочу, чтобы дождик колкий
мне навстречу в лицо хлестал,
чтобы ветер в пустом поселке
по-разбойничьему свистал,
чтобы холод туманил стекла,
чтобы тучи темней свинца,
чтоб рябина, качаясь, мокла
у бревенчатого крыльца,
чтобы к ночи — густой, стремительной —
закружился осенний снег...
Человек ты мой удивительный,
непонятливый человек!

КОСТЕР

Ни зяблика, ни славки, ни грача.
Стволы в тумане.
Гаснет день короткий.
Лесной костер
грызет сушняк, урча,
и греет нас — услужливый и кроткий.
Рожденное от хищного огня,
с орешником заигрывает пламя...
Ну, что молчишь? Что смотришь на меня
такими несчастливыми глазами?
Как много раз ты от меня бежал,
как много раз я от тебя бежала...
Мы жгли костер.
Гудит лесной пожар.
Не поздно ли спастись
от пожара?

ДВОЕ И ЯБЛОКО

Все яблоки сняли,
а его не заметили,
не разглядели, видно,
сквозь ветви.
Осталось висеть оно, одинокое,
иззябшее,
мокрое,
розовобокое.
Наверно, яблоку было грустно,
думалось яблоку:
«Я ведь вкусное,
отчего же меня обошли, забросили,
оставили здесь
на немилость осени?»
Но однажды,
на мгlistом седом рассвете,
человек раздвинул ржавые ветви,
и засмеялся находке счастливой,
и сорвал рукою неторопливой,
из тысячи тысяч
самое лучшее...
Он принес его в дом,
в тепло и беззвучие,
положил на подушку,
от влаги блестящее, —
и сквозь сон улыбнулась
женщина спящая.
За яблоком потянулась рукою,
прижалась к нему горячей щекою,
и пахнула в лицо ей осень сырая
первым и вечным
дыханьем Рая.

Он окно притворил, спросил:
— Не озябла ты? —
А за окном орали вороны,
дождь шуршал, воробьи верещали...
И было все, как в самом начале,
было все, как во время оно:
двое и яблоко.

* * *

Не о чем мне печалиться,
откуда же
слезы эти?
Неужели сердце прощается
со всем дорогим на свете —
с этим вечером мгlistым,
с этим безлистным лесом...
А мне о разлуке близкой
ничего еще не известно.
Все еще верю:
позже,
когда-нибудь...
в марте... в мае...
Моя последняя осень.
А я ничего не знаю.
Асны все грустнее снятся,
а глаза твои все роднее,
и без тебя оставаться
все немислией!
Все труднее!

* * *

Глаза твои хмурятся,
горькие, мрачные,
тянется, курится
зелье табачное,
слоятся волокна
длинные, синие,
смотрится в окна
утро бессильное.
Сердце не греется,
дело не ладится,
жизнь драгоценная
попусту тратится.
Может быть, кажется,
может быть, чудится,
что ничего уже в жизни
не сбудется...
Думаю с грустью:
чего я стою?
На что гожусь я? —
место пустое!
Чего я стою
с любовью моею,
если помочь тебе
не умею?

* * *

Гонит ветер
туч лохматых клочья,
снова наступили холода.
И опять мы
расстаемся молча,
так, как расстаются
навсегда.
Ты стоишь и не глядишь вдогонку.
Я перехожу через мосток...
Ты жесток
жестокостью ребенка —
от непонимания жесток.
Может, на́ день,
может, на́ год целый
эта боль мне жизнь укоротит.
Если б знал ты подлинную цену
всех твоих молчаний и обид!
Ты бы позабыл про все другое,
ты схватил бы на руки меня,
поднял бы
и вынес бы из горя,
как людей выносят из огня.

* * *

Не охладела, нет,
скрываю грусть.
Не разлюбила, —
просто прячу ревность.
Не огорчайся,
скоро я вернусь.
Не беспокойся,
никуда не денусь.
Не осуждай меня,
не прекословь,
не спорь
в своем ребячестве
жестоким...
Я для тебя же
берегу любовь,
чтоб не изранил насмерть
ненароком.

* * *

Ну что же, можешь покинуть,
можешь со мной расстаться, —
из моего богатства
ничего другой не отдастся.
Не в твоей это власти,
как было, так все и будет.
От моего злосчастья
счастья ей не прибудет.
Ни любви ей,
ни ласки
не добавится ни крупницы!
Не удастся тебе,
не удастся
душой моей откупиться.
Напрасно стараться будешь:
нет любви — не добудешь,
есть любовь — не забудешь,
только счастье загубишь.
Рыжей глиной засыплешь,
за упокой выпьешь...
Домой воротишься — пусто,
из дому выйдешь — пусто,
в сердце заглянешь — пусто,
на веки веков — пусто!

* * *

Так уж сердце у меня устроено —
не могу вымаливать пощады.
Мне теперь — на все четыре стороны...
Ничего мне от тебя не надо.
Рельсы — от заката до восхода,
и от севера до юга — рельсы.
Вот она — последняя свобода,
горькая свобода погорельца.
Застучат, затарахтят колеса,
вольный ветер в тамбуре засвищет,
полетит над полем, над откосом,
над холодным нашим пепелищем.

* * *

Все было до меня: десятилетия
того, что счастьем называем мы.
Цвели деревья,
вырастали дети,
чередовались степи и холмы,
за ветровым стеклом рождались зори
очередного праздничного дня,
был ветер,
берег,
дуб у лукоморья,
пир у друзей,—
все это без меня.
Моря и реки шли тебе навстречу,
ручной жар-птицей
в руки жизнь плыла...
А я плутала далеко-далече,
а я тогда и ни к чему была.
Ты без меня сквозь годы пробивался,
запутывался и сплеча рубил,
старался, добивался, любовался,
отпировал, оплакал, отлюбил...
Ты отдал все, что мог, любимой ради,
а я? —
всего глоток воды на дне,
сто скудных грамм в блокадном
Ленинграде...
Завидуйте,
все любящие,
мне!

* * *

Я одна тебя любить умею,
да на это права не имею,
будто на любовь бывает право,
будто может правдой
стать неправда.
Не горит очаг твой, а дымится,
не цветет душа твоя — пылится.
Задыхаясь, по грозе томится,
ливня молит, дождика боится...
Все ты знаешь, все ты понимаешь,
что подаришь — тут же отнимаешь.
Все я знаю, все я понимаю,
боль твою качаю, унимаю...
Не умею сильной быть и стойкой,
не бывать мне ни грозой, ни бурей...
Все простишь ты мне, вину любую,
кроме этой
доброты жестокой.

* * *

Я рядом с тобою —
не лучшая и не любимая...
Зачем же сливаются
мыслей теченья
глубинные?
Зачем же срастаются руки
в порыве едином?
Зачем же ты смотришь в глаза мне,
как смотрят любимым?
Я рядом с тобой —
не любимая и не лучшая...
Зачем же все это —
как таянье льдов неминуемое,
как шара земного движенье
непреодолимое?
О, если б пожизненно
быть мне
такой нелюбимою!

ТЫ БОЛЕН...

Стоит туман и не движется,
плотной стоит стеной...
Трудно сегодня дышится,
плохо тебе, родной!
Тягостно человеку
без воздуха и лучей...
Я побегу в аптеку,
я соберу врачей.
Туман — ничего не видно,
в лесу туман и в степи...
Мы тебя не дадим в обиду,
помоги нам,
перетерпи!
Думай о том, что все же
вёдру придет черед,
что на заре погожей
последний лед
уплывет.
Ведь все на земле осталось —
осталась рыба в реке,
птица в лесу осталась,
осталась сила в руке,
осталось море большое,
осталось небо большое,
на небе звезд не счесть...
Худо ли, хорошо ли —
я у тебя есть.
Ветер задует вешний,
вольно задышит грудь...
Непогодь не навечно,
перетерпи чуть-чуть!

* * *

Мне на долю отпущены
все недуги твои и невзгоды,
с холодами и тучами
дни уныния и непогоды.
Я беру, я согласна,
я счастлива долей моею,
уступаю все «ясно»
и всеми «ненастно»
владею!
Разжигаю костры,
и топлю отсыревшие печи,
и люблюсь, как ты
расправляешь поникшие плечи,
и слежу, как в глазах твоих
льдистая корочка тает,
как душа твоя пасмурная
рассветает и расцветает.
Ничего мне другого
не нужно, не нужно, не нужно,
хорошо, что так часто бывает
дождливо и вьюжно,
что порог твой то снегом,
то мертвой листвою
заметает,
хорошо, что так часто
меня тебе
не хватает!

* * *

Опять утрами — лучезарный иней
на грядках, на перилах, на траве.
Оцепененье.

Воздух дымно-синий.

Ни ласточки, ни тучки в синеве.

Сияющая обнаженность рощи,
лиловых листьев плотные пласты.

Наверно, нет

пронзительнее, проще

и одухотворенней красоты.

Все чаще думается мне с тоскою,
что впереди не так уж много дней.

Я прежде не любила Подмосковья.

Кого винить мне

в бедности моей?

А это все существовало. Было.

Лес. Первый иней. Талая вода.

Шел дождь.

Шиповник цвел.

Метель трубила.

...Я и тебя когда-то не любила.

Где я была?

Кто я была тогда?

* * *

Темный след
на первом снегу
промят.

Ели тихонько шумят,
шумят.

Кое-где листок шуршит жестяной...
Лес разговаривает со мной
вполголоса, шепотом:

— Так, мол, и так,
что давно не бывала
в наших местах?
Земляники было полным-полно,
и малины было полным-полно,
и брусники было полным-полно,
только, видно, тебе это все равно.
День-деньской свистели на все лады
синицы, малиновки и дрозды,
по вершинам ветер ходил колесом,
а теперь меня клонит
в сон... в сон...

Только послушай, какая тишь...
Может, и ты немного поспишь?
Отдохнешь от мартовских синих дней,
там, глядишь, и дела-то
пойдут складней...

...Не пойдут складнее мои дела.
А зима моя рядом — белым-бела...
Отдохнуть хорошо бы,
да вот беда —
у людей зима навсегда...

* * *

Помнишь, как залетела в окно
какого наделала переполоху?
Не сердись
на свою залетную птицу,
сама понимаю,
что это плохо.

Только напрасно меня ты гонишь,
словами недобрými ранишь часто:
я недолго буду с тобой,—
всего лишь
до своего последнего часа.

Потом ты плотнее притворишь двери,
рамы заклеишь бумагой белой...
Когда-нибудь вспомнишь,
себе не веря:
неужели летала,
 мешала,
 пела?

* * *

Где-то чавкает вязкая глина,
и, как было во веки веков, —
разговор журавлиного клина
замирает среди облаков.
Тальники вдоль размытого лога
по колено в осенней грязи...
...Увези ты меня, ради бога,
хоть куда-нибудь увези!
Увези от железного грома,
от камней, задушивших меня,
как давно не бывала я дома,
не видала живого огня.
Как давно я под сумраком хвойным
не бродила в намокшем плаще,
не дышала спокойно и вольно,
засыпая на верном плече.
Ах, дорога, лесная дорога!
Сколько этих дорог на Руси...
...Увези ты меня, ради бога,
хоть куда-нибудь увези!

* * *

Еду я дорогой длинной...
Незнакомые места.
За плечами сумрак дымный
замыкает ворота.
Ельник сгорбленный, сивый
спит в сугробах по грудь.
Я возницу не спросила —
далеко ль держим путь?
Ни о чем пытаться не стала, —
все равно, все равно,
пограничную заставу
миновали давно.
Позади пора неверья,
горя, суеты людской.
Спят деревни, деревья
в тишине колдовской.
В беспредельном хвойном мире
беглеца угляди...
Было горе — нету горя, —
позади! Позади!
Русь лесная ликом древним
светит мне там и тут,
в тишину по снежным гребням
сани валко плывут.
Будто в зыбке я качаюсь,
засыпаю без снов...
Возвращаюсь, возвращаюсь
под родимый кров.

НАСЛЕДСТВО

Глухо шумят деревья
царства лесного...
Мне отпирают двери,
отодвигают засовы.
У крыльца — сугроб по колено,
в сенцах — кадка с водою...
Помогите мне, стены,
запах дыма и запах хвои,
помоги мне, вечер туманный, —
в этот мир незнакомый
вхожу я не гостьей званой, —
дочерью незаконной.
Будьте великодушны,
отдайте мое наследство,
отдайте — мне очень нужно —
снег моего детства,
свет моего детства
на темных смолистых бревнах,
теплую память детства,
прибежище душ бездомных.
Не пожалейте, отдайте
дочери незаконной
это старое мамино платье,
этот снежный мрак заоконный.
Отдайте мне этот фикус,
этот пышный китайский розан...
Никак я с мыслью не свыкнусь,
что поздно все это, поздно...
Тоскую я, и ревную,
и плачу, и снова, снова
воду пью ледяную
из ковшика жестяного.

ЗВУКИ ДОМА

Все очень легко и странно,
знакомо и незнакомо.
Я просыпаюсь рано,
слушаю звуки дома:
дрова перед печкою брошены,
брякнул дверной замок,
одна за другой
картошины
падают в чугунок.
Торжественный и спокойный
звук наполняет дом,
словно дальний звон
колокольный:
дон! дон! дон!
Гремит печная заслонка,
трещит береста в огне,
стучат торопливо, ломко
ходики на стене.
Лежу, ни о чем не думая,
слушаю, как легки
старческие, бесшумные,
войлочные шаги.
Страшно пошевелиться мне:
слушаю не дыша —
поскрипывает половицами
дома душа.

* * *

Вот говорят: Россия...
Реченьки да березки...
А я твои руки вижу,
узловатые руки,
жесткие.
Руки, от стирки сморщенные,
слезами горькими смоченные,
качавшие, пеленавшие,
на победу благословлявшие.
Вижу пальцы твои сведенные, —
все заботы твои счастливые,
все труды твои обыденные,
все потери неисчислимые...
Отдохнуть бы, да нет привычки
на коленях лежать им праздн...
Я куплю тебе рукавички,
хочешь — синие, хочешь — красные?
Не говори «не надо», —
мол, на что красота старухе?
Я на сердце согреть бы рада
натруженные твои руки.
Как спасенье свое держу их,
волнения не осия.
Добрые твои руки,
прекрасные твои руки,
мать моя, Россия!

ПОЛНОЛУНИЕ

Стемнело. По тропинкам снежным
хозяйки с ведрами пошли.
Скрипят таинственно и нежно
колодезные журавли.
Смех, разговор вдоль длинных улиц,
но враз пропали голоса,
и словно бы плотней сомкнулись
кольцом дремучие леса.
Я прохожу пустой деревней,
я выхожу за крайний дом.
Мир обретает облик древний
в сиянье млечно-золотом.
А небо-то и вправду купол!
С непостижимой вышины
стекают медленно и скупое
лучи невидимой луны.
Они переполняют тучи,
просачиваются в снега,
они бесплотны, вездесущи,
они — веками... на века...
Нездешнее сиянье льется,
мерцают срубы в глыбах льда,
и смутно светится в колодцах
животворящая вода.

ПОЮТ ПЕТУХИ...

Я все о своем, все о своем —
знаешь, когда поют петухи?
Перед рассветом,
перед дождем,
перед весной
поют петухи.
За полночь выйду
в снег, в тьму...
Спит мое счастье
в теплом дому.
Снег под ногами
летит, свистит,
в черном разводе
звезда блестит...
Хорошо, что пурга,
хорошо, что звезда,
хорошо, что не ходят сюда
поезда,
что до самого неба —
леса, леса,
что случаются все-таки
чудеса!
Где-то далеко запел петух, —
наверное, сейчас около двух.
Снега глубоки,
ночи глухи,
наверно, к весне
поют петухи.

* * *

О, эти февральские вьюги,
белесый мятущийся мрак,
стенанья и свист по округе,
и — по пояс в снег, что ни шаг...

О, эти ночные прогулки,
уходы тайком со двора,
дремучей души закоулки,
внезапных открытий пора.

Томящее нас ощущение,
что вдруг — непонятно, темно —
раздельное мыслей течение
вливается в русло одно.

И все растворяется в мире
кипящих лесов и снегов,
и счастье все шире и шире,
и вот уже нет берегов!

МЕЛЬНИЦА

Стоит в сугробах мельница,
ничто на ней не мелется,
четыре с лишним месяца
свистит над ней метелица...
От ветра сосны клонятся,
от снега ветви ломаются,
спит омут запорошенный
под коркой ледяной,
на мельнице заброшенной
зимует водяной.
До самой этой мельницы
два лыжных следа стелются,
у самой этой мельницы
дорога на две делится:
ты идешь направо,
я иду налево...
Никогда обратно
не вернусь, наверно!
А зима-то кончится,
капелью снег источится,
весна польется балками,
распустится фиалками,
заблещет омут под луной,
спросонья крикнет водяной,
от счастья ошалевшие,
опять запляшут лешие,
и светляки засветятся,
и жернова завертятся,
и соловьи рассыпятся
по чашам, зазвения...
...Да ты-то к речке выйдешь ли?
Услышишь ли, увидишь ли
все это без меня?

ЛИСТВЕННИЦА

Снег мерцает полночью лунной,
то светлея, то потухая...
Признавайся — разве ты думал,
представлял, что она такая?
Сбросив свое сожженное
стужею одеяние,
стоит она, обнаженная,
не дерево — изваяние.
Как стремительна в блеске тусклом
ветвей ее долгих сила,
ветвей ее долгих сила,
лиственница красива.
Древним востоком веет
от начертанных тушью линий,
глядят глаза и не верят
яркости их незимней.
В сердце моем поныне
облик ее летящий
в небесной светлой пустыне
над деревенькой спящей.

* * *

Ночью на станции — ветер, ветер,
в проводах телеграфных —
гудение пчел...
Я писала тебе,
а ты не ответил.
Ну и что же...
Только бы ты прочел.
Только б душа была обогрета,
глаза усмехнулись бы из-под век,
только б счастлив ты был,
что где-то
существует твой собственный человек.
Спасибо, спасибо за то, что веришь.
Очень тоскую я по тебе.
...Лампу задул ли?
Запер ли двери?
Не угорел бы в жаркой избе!
...Ночью на станции — ветер, ветер,
на север, на север
бредут столбы...
Спасибо за то, что живешь на свете,
хозяин моей судьбы!

* * *

С тобой я самая верная,
с тобой я самая лучшая,
с тобой я самая добрая,
самая всемогущая.

Щедрые на пророчества
твердят мне:

— Счастье кончается! —

А мне им верить не хочется,
мне их слушать не хочется,
ну их всех!

Ничего не кончится.

Так иногда случается!

* * *

Ты все еще тревожишься — что будет?
А ничего. Все будет так, как есть.
Поговорят, осудят, позабудут, —
у каждого свои заботы есть.
Не будет ничего...
А что нам нужно?
Уж нам ли не отпущено богатств:
то мрак, то свет, то зелено, то вьюжно,
вот в лес весной отправимся, бог даст...
Нет, не уляжется,
не перебродит!
Не то, что лечат с помощью разлук,
не та болезнь, которая проходит,
не в наши годы...
Так-то, милый друг!
И только ночью боль порой разбудит,
как в сердце — нож...
Подушку закушу
и плачу, плачу,
ничего не будет!
А я живу, хожу, смеюсь, дышу...

* * *

Не боюсь, что ты меня оставишь
для какой-то женщины другой,
а боюсь я,
что однажды станешь
ты таким же,
как любой другой.
И пойму я, что одна в пустыне,—
в городе, огнями залитом,
и пойму, что нет тебя отныне
ни на этом свете,
ни на том.

* * *

Ты не горюй обо мне, не тужи,—
тебе, а не мне доживать во лжи,
мне-то никто не прикажет «молчи!».
улыбайся, когда хоть криком кричи
Не надо мне до скончанья лет
думать — да, говорить — нет.
Я-то живу, ничего не тая,
как на ладони вся боль моя,
как на ладони вся жизнь моя,
какая ни есть, вот она — я!
Мне тяжело,
тебе тяжелей...
Ты не меня,— ты себя
жалей.

* * *

Вот уеду, исчезну,
на года, навсегда,
кану в снежную бездну,
пропаду без следа.

Час прощанья рисую,
гладкий след от саней...
Я ничем не рискую,
кроме жизни своей.

РАСКАЯНИЕ

Я не люблю себя такой,
не нравлюсь я себе, не нравлюсь!
Я потеряла свой покой,
с обидою никак не справлюсь.

Я не плыву, — иду ко дну,
на три шага вперед не вижу,
себя виню, тебя клянусь,
бунтую, плачу, ненавижу...

Опамятуйся, просветлей,
душа! Вернись, бывшее зренье!
Земля, пошли мне исцеленье,
влей в темное мое смятение
спокойствие твоих полей!

Дни белизны... чистейший свет...
живые искры снежной пыли...
«Не говори с тоской — их нет,
но с благодарностию — были».

Все было — пар над полыней,
молчанье мельницы пустынной,
пересеченные лыжней
поляны ровности простынной,

и бора запах смоляной,
и как в песцовых шубах сучья,
и наводненное луной
полночной горницы беззвучье...

У всех бывает тяжкий час,
на злые мелочи разъятый.
Прости меня на этот раз,
и на другой, и на десятый, —

ты мне такое счастье дал,
его не вычтешь и не сложишь,
и сколько б ты ни отнимал,
ты ничего отнять не сможешь.

Не слушай, что я говорю,
ревнуя, мучаясь, горя...
Благодарю! Благодарю!
Вовек
не отблагодарю я!

* * *

Беззащитно сердце человека,
если без любви...
Любовь — река.
Ты швырнул в сердцах булыжник в реку,
канул камень в реку
на века.

.
Пять минут
качались облака.

* * *

У всех бывают слабости минуты,
такого разочарованья час,
когда душа в нас леденеет будто
и память счастья
покидает нас.

Напрасно разум громко и толково
твердит нам список радостей земных:
мы помним их, мы верить в них

готовы —

и все-таки не можем верить в них.
Обычно все проходит без леченья,
помучит боль и станет убывать,
а убивает
в виде исключенья,
о чем не стоит все же
забывать.

* * *

Горе несешь — думаешь,
как бы с плеч сбросить,
куда бы его подкинуть,
где бы его оставить.
Счастье несешь — думаешь,
как бы с ним не споткнуться,
как бы оно не разбилось,
кто бы его не отнял.
А уж мое счастье, —
горя любого тяжче,
каменного, железного, —
руки мне в кровь изрезало.
А дороги-то немощные,
а навстречу все тучи черные,
дождь, да ветер, да топь лесная.
Как из лесу выйти, не знаю.
Давно бы из сил я выбилась,
захлебнулась болотной жижей,
когда бы не знала — выберусь,
когда бы не верила — выживу,
когда бы все время не помнила:
только бы не споткнуться,
только бы не разбилось,
только бы кто не отнял!

* * *

Тяжело мне опять и душно,
опустились руки устало...
До чего же не много нужно,
чтобы верить я перестала.
Чтобы я разучилась верить,
чтобы жизнь нашу стала мерить
не своею — чужою меркой,
рыночной меркой, мелкой.
Если счастье от слова злого
разлетается, как полова,
значит, счастье было пустое,
значит, плакать о нем не стоит.
...Ты прости меня, свет мой ясный,
за такой разговор напрасный.
Как все было, так и останется:
вместе жить нам
и вместе стариться.

* * *

Наверно, это попросту усталость, —
ничто ведь не проходит без следа.
Как ни верти,
а крепко мне досталось
за эти неуютные года.
И эта постоянная бездомность,
и эти пересуды за спиной,
и страшной безнадёжности бездонность,
встававшая везде передо мной,
и эти горы голые,
и море
пустынное,
без паруса вдали,
и это равнодушие немое
травы и неба,
леса и земли...
А может быть, я только что родилась,
как бабочка, что куколкой была?
Еще не высохли, не распрямились
два беспощадно скомканных крыла?
А может, даже к лучшему, не знаю,
те годы пустоты и маеты?
Вдруг полечу еще
и засверкаю,
и на меня порадуешься ты?

* * *

Ну, пожалуйста, пожалуйста,
в самолет меня возьми,
на усталость мне пожалуйста,
на плече моем усни.
Руку дай, сводя по лесенке,
на другом краю земли,
где встают, как счастья вестники,
горы дымные вдали...
Ну, пожалуйста, в угоду мне,
не тревожься ни о чем,
тихой ночью сердце города
отопри своим ключом.
Хорошо, наверно, ночью там, —
темнота и тишина.
Мы с тобой в подвале сводчатом
выпьем местного вина.
Выпьем мы за счастье трудное,
за дорогу без конца,
за слепые, безрассудные,
неподсудные сердца...
Побредем по сонным дворикам,
по безлюдным площадям,
улыбаться будем дворникам,
будто найденным друзьям.
Под платанами поблекшими
будем листьями шуршать,
будем добрыми, хорошими,
будем слушать осень позднюю,
радоваться и дышать!

В САМОЛЕТЕ

Молчали горы — грузные и грозные,
ощеря белоснежные клыки.
Свивалось их дыхание морозное
в причудливые дымные клубки.
А в синеве, над пеленой молочной,
как божий гром
«ТУ-104» плыл,
уверенный в себе,
спокойный, мощный,
слепя глаза тяжелым блеском крыл.
Он плыл над неприступной цитаделью
отвесных скал,
 лавин,
 расселин,
 льда...

Он неуклонно приближался к цели
и даже без особого труда.
Следила я, как дали он глотает, —
цель! Только цель! — и больше ничего.
И думала:
как сердцу не хватает
непогрешимой точности его.

* * *

Мало в жизни я повидала,
и цветов мне дарили мало,
и еще мне жаль, что ни разу
я на свадьбе не пиновала.
Очень нравились мне наряды,
а ходила в платьишке драном,
очень в жизни хотелось правды,
а она пополам с обманом.
То обиды, то неудачи,
то душевная непогода,
да разлуки еще в придачу,
да четыре военных года...
Столько горя, потерь и боли!
Вот бы заново мне родиться,
вот бы взять и своей судьбою
по-другому распорядиться.
Жизнь, направленная искусно,
потечет по иному руслу,
заблестят маяки другие,
полетят облака другие,
в бездну канут,
во мраке сгинут
берега мои дорогие...
Берега, острова, излуки,
наши праздники и разлуки,
и любимое твое сердце,
и надежные твои руки,
и суровые твои брови,
все, что было у нас с тобою,
все, что будет у нас с тобою...
Я молчу... я от счастья плачу...
Ничего не хочу иначе!

ЗВЕЗДА

Река текла
тяжелая, как масло,
в ней зарево закатное
не гасло,
и я за блеском неба и воды
не разглядела маленькой звезды.
Померкла гладь
серебряная с чернью,
затихла птичья сонная возня,
зажгли костер...
И звездочки вечерней
не разглядела я
из-за огня.
Истлели угли,
теплый и густой,
распространился сумрак по откосу...
Я за багровой искрой папиросы
звезды не разглядела
золотой.
Потом окурок горький затоптали,
погас последний уголь,
и тогда
я увидала, что из дальней дали
мне в сердце смотрит
вечная звезда.

СНОВИДЕНИЕ

Вижу сон: у окошка
сидишь ты в бревенчатом доме,
подаешь мне сережки
на старушечьей темной ладони.
Два грошовых цветочка,
со стеклянною сердцевинкой,
и тоскливо мне, точно
я не в гости пришла,
а с повинной.

И тревожно мне, будто
какое-то горе нависло,
будто эти минуты
исполнены тайного смысла.
Ты напомнить мне хочешь?
Так я ж ничего не забыла,
все, что я полюбила,
я раз навсегда полюбила...
Но навечно, навечно
таежная глушь между нами,
бесконечные версты
с полями,
лесами,
снегами.

Никогда не приеду,
заволгую дверь не открою,
твои старые плечи
пуховым платком не укрою,
не скажу тебе доброго слова,
не приласкаюсь...
О, как я пожалею когда-нибудь,
как я покаюсь!

* * *

Как мне по сердцу вьюги такие,
посвист в поле, гуденье в трубе...
Напоследок гуляет стихия.

(Вот и вспомнила я о тебе.)

Вот и вспомнила утро прощанья,
по углам предрассветную мглу.

Я горячего крепкого чая
ни глотка проглотить не могу.

Не могу, не хочу примириться
с тем, как слаб иногда человек.

Не воротится... не повторится...

Не навек — говоришь?

Нет, навек!

Посиди, перестань суетиться,
не навек — говоришь?

Нет, навек!

...Что на белом-то свете творится,
как беснуется мартовский снег...

Вот и вспомнила: утро седое,
и рассвет все синей и синей,
и как будто бы выслан слюдою
убегающий след от саней.

КУЗНЕЧИК

Горем горьким измучена,
ничему не научена —
слышу: строчат беззвучье ночное
часы мои маленькие, наручные,
стрекочет время мое ручное.
Стрекочет кузнечик в пыльной пылини,
при дороге, что нет уже и в помине,
то ли в Крыму, то ли в Средней Азии,
то ли в детстве,
которое было разве?
То ли в поле полуденном, за деревней,
стрекочет кузнечик...
Всегдашний. Древний.
Над туманной двухверсткой
лесов и речек
стрекочет железный смешной кузнечик,
серо-зеленый, десятиместный,
безотказный кузнечик
линии местной...
...А в чаще избушка на курьих ножках.
Лопухи катают росу в ладошках,
расступаются заросли иван-чая,
душу бездомную привечая.
Дверь распахиваю не стучась я,
с плеч роняю на пол кошелку,
и считает-отсчитывает мне счастье
кузнечик в траве густой
без умолку...
Ох, как тихо! Одни только часики
 трудятся,
к счастью торопятся что есть силы.
Спасибо, маленькие, спасибо
за все, что сегодняшней ночью чудится!
За то, что когда-нибудь это сбудется,
спасибо, маленькие, спасибо!

* * *

Сколько же раз можно терять
губы твои, русую прядь,
ласку твою, душу твою...
Как от разлуки я устаю!
Холодно мне без твоей руки,
живу я без солнца и без огня...
Катятся воды лесной реки
мимо меня... мимо меня...
Старые ели в лесу кряхтят,
к осени тише птичья возня...
Дни твои медленные летят
мимо меня... мимо меня...
С желтых берез листья летят,
и за моря птицы летят,
и от костра искры летят
мимо меня... мимо меня...
Скоро ли кончится — мимо меня?
Скоро ли вечер долгого дня,
плащ и кошелку — и на вокзал,
как приказал ты,
как наказал...
Будет, ах будет лесная река,
кряканье утки, треск сушняка,
стены тесовые, в окна луна,
и тишина, тишина, тишина...
Буду я гладить русую прядь,
сердце твое целовать, отворять,
будут все горести пролетать
мимо меня... мимо меня...

ЭХО

К тебе тропа меня вела.
Шагать бы молча той тропой,
так не стерпела,
позвала,
послала душу за тобой.
И бором — от ствола к стволу —
пошло:
ау!.. ау!.. ау!..
Пошло по кручам, по реке,
ушло в ночную синеву
и в самом дальнем далеке
отозвалось:
ау!.. ау!..
И сердце замерло во мне,
и слушала я не дыша,
как неприкаянно во тьме
скитается моя душа.
И снова только шорох хвой,
прихлынувшая тишина...
Как страшно слышать голос свой,
когда в глухом лесу
одна.

* * *

Как часто лежу я без сна в темноте,
и всё представляются мне
та светлая речка
и елочки те
в далекой лесной стороне.
Как тихо, наверное, стало в лесу,
раздетые сучья черны,
день úбыл — темнеет в четвертом часу, —
и окна не освещены.
Ни скрипа, ни шороха в доме пустом,
он весь потемнел и намок,
ступени завалены палым листом,
висит заржавелый замок...
А гуси летят в темноте ледяной,
тревожно и хрипло трубя...
Какое несчастье
случилось со мной —
я жизнь прожила
без тебя.

СИНИЦЫ

Я с детства зверей любила,
котов за хвост не таскала,
а если синиц ловила,
так вскорости отпускала.
Тоскливо мне видеть было,
как птицы о прутья бьются,
как шариками унылыми
дремлют, чтоб не проснуться.
А за окном выюжило,
в сени снег задувало,
клетку я выносила,
дверку приоткрывала,
и ждала с нетерпением,
и прыгала, и смеялась,
как будто бы в то мгновенье
в синицу переселялась.
Как будто с ней в путь отправилась...
И еще одно допускаю:
мне мое всемогущество нравилось,—
вот поймала
и отпускаю!
Может, долго не поняла бы
я без этих пичужек славных,—
отпускать —
это счастье сильных,
взаперти держать —
мука слабых.

* * *

Много счастья и много печалей на свете,
а рассветы прекрасны,
а ночи глухи...

Незаконной любви
незаконные дети,
во грехе родились они —
эти стихи.

Так уж вышло, а я ни о чем не жалею,
трачу, трачу без удержу душу свою...
Мне они всех рожденных когда-то милее,
оттого что я в каждом тебя узнаю.

Я предвижу заране их трудную участь,
дождь и холод у запертых глухо дверей,
я заране их долгой бездомностью мучусь,
я люблю их — кровиночки жизни моей.

Все равно не жалею.

Мне некогда каяться.

Догорай, мое сердце, боли, холодей, —
пусть их больше от нашего счастья останется, —
перебьются!

Земля не без добрых людей!

* * *

Сутки с тобою,
месяцы — врозь...
Спервоначалу
так повелось.
Уходишь, приходишь,
и снова,
и снова прощаешься,
то в слезы, то в сны
превращаешься,
и снова я жду,
как во веки веков
из плаванья женщины ждут
моряков.
Жду утром, и в полдень,
и ночью сырой,
и вдруг ты однажды
стучишься: — Открой! —
Тепла, тяжела
дорогая рука...
...А годы летят,
как летят облака,
летят-пролетают,
как листья, как снег...
Мы вместе — навек.
В разлуке — навек.

Лидия

1969

* * *

Искалечить жизнь меня хотела:
злом изранить,
отравить неверьем...
Верю правде сердца,
праву тела.
Верю детям, птицам и деревьям.
Даже без пристанища,
без крова,
под чужою запертою дверью,
все равно я верю счастью,
верю.
Пусть не у меня,
так у другого.
Отступить от веры не могу я,
душу не возьму себе другую.
Верю очагу
и верю дому,
верю вечному теплу земному!

* * *

Я стучусь в твое сердце:
— Отвори, отвори,
разреши мне
в глаза поглядеться твои,
оттого, что забыла уже
о весне,
оттого, что давно не летала
во сне,
оттого, что давно
молодой не была,
оттого, что
бессовестно лгут зеркала...—
Я стучу в твое сердце:
— Отвори, отвори,
покажи мне меня,
возврати, подари!

ВЕЧЕР. СНЕГОПАД

Сегодня первый снегопад
под вечер начался.
В лебяжий пух разубран сад,
дорога в перьях вся.
Тяжелый снег, крутясь, закрыл
бессолнечную высь,
как будто сотни белых крыл
бесшумно понеслись.
И город сквозь метель поплыл,
качаясь все сильней,
и мрак его посеребрил
гирляндами огней.
А у меня на сердце грусть
и холодно рукам...
Скажи, когда я отучусь
грустить по пустякам?
Когда я наконец пойму,
что, где бы ни был ты,
не надо сердцу моему
пугаться пустоты.
Судьба соединила нас
на весь остаток дней.
Но я сейчас,
сейчас,
сейчас
хочу любви твоей!

МОЛЧАНИЕ

Ты верен святости обряда,
и в том душа твоя права.
Ты слов боишься,
но не надо
переоценивать слова.
Я понимаю, понимаю,
твое смятение щажу
и тоже молча обнимаю,
и тоже молча ухожу.
Ты не преступишь обещанья,
ты не откликнешься на зов,
но не солжет
твое молчанье —
оно отчаяннее слов.
Все изумленнее, жаднее,
нежнее слушаю его
и ни о чем
не сожалею,
и не жалею
ничего!

БЕЗ ТЕБЯ

Я бы рада спрятаться
где-нибудь в подвале,
чтоб меня не звали
полевые дали,
чтоб не воевали
с тишиной грачи,
чтоб не колдовали
надо мной лучи.
А они, как нáзло,
в сердце бьют без промаха...
Зацвела черемуха...
Отцвела черемуха...
Отзвенели ландыши
по овражкам,
уступили ландыши
лес ромашкам...
Я от лип медовых
ночь не сплю которую,
от небес бездонных
окна — шторую,
а за шторой плотную
сердце мается.
Это я «работаю»,
называется!
Нет, не стану каяться,
лень виня, —
руки опускаются
у меня.

Без тебя не могу
столько долгих дней!
Забелели в снегу
лапы тополей.
Без тебя пуста земля,
белый свет потух...
Тополя... тополя...
тополиный пух...

* * *

Где-то по гостиничным гостиным
изводилась я тоской по доме,
самолет ждала твой
на пустынном,
солнцем выжженном аэродроме.
Отсылала письма почтой спешной,
спешные ответы получала...
Дни любви преступной и безгрешной,
испытаний будущих начало.
Прилетел ты злой и запыленный,
с добрыми покорными глазами.
Городок, от зноя полусонный,
раем простирался перед нами.
Ты любил,
и я тебя любила...
По ночам черно и душно было,
и скрипели ставни неустанно,
и шумели старые платаны.
Ты любил,
и я тебя любила...
А совсем не нужно это было,
зря мы ревновали и страдали, —
нас другие счастья в жизни ждали.
Только, друг мой, стоит ли лукавить?
Разве можно жить, как строчки
править?
Ты любил,
и я тебя любила...
Это нужно, неизбежно было!
Отчего ж иначе сердце полнит
нежность, неподвластная забвению?
Я тебя не помню, — губы помнят,
я тебя не помню, — руки помнят
каждое твое прикосновенье...

Ни в каких грехах я не повинна,
мне не надо опускать ресницы,
жизнь моя зашла за половину,
поздно в ней вычеркивать страницы!
Ничего я не прошу обратно,
помню грустно, жадно, благодарно.
...На подушке солнечные пятна...
На тарелке — виноград янтарный.

* * *

Щедры на ласку тополя и кедры,
добра земля,
приветлива вода...
Зачем же люди так жестокосерды,
так скарены бывают
иногда?
Ведь если бы их сердце отвечало
на каждый зов,
как эхо за рекой,
ведь если бы их сердце излучало
свое тепло, как солнце
день-деньской,
и, как луна,
в осенней тьме светило,
и утоляло жажду,
как река,
насколько бы нам радостнее было,
как жизнь бы сразу
сделалась легка.
Но, видно, чтобы стало все иначе,
чтоб сердцу всех одаривать сполна,
оно должно, как солнце,
быть горячим,
большим, как мир,
высоким, как луна.

* * *

Как часто от себя мы правду прячем,
мол, так и так, — не знаю, что творю...
И ты вот притворяешься незрячим,
чтобы в ответе быть поводырю.
Что ж, ладно, друг,
спасибо за доверье,
в пути не брошу,
в топь не заведу...
Но все тесней смыкаются деревья,
и вот уж скоро ночь, как на беду.
Я и сама лукавлю, — не отважусь
признаться, что измаялась в пути.
А если б на двоих нам
эту тяжесть, —
насколько легче было бы идти.

* * *

А я-то тебе поверила,
я-то к тебе приехала,
прилетела, пришла пешком,
с великой радостью в сердце,
с кошелкою за плечами,
с березовым посошком...
Ты меня встретил милостиво:
— Здравствуй, гостя столичная! —
дверь отворил в рай.
— А что у тебя в кошелке?
Вещи твои личные?
Ну, что же, — сказал, — отлично,
все с собой забирай!
Отдаю тебе все, чем владею,
занимай любую скамью,
только очень прошу, —
за дверью
душу оставь свою. —
Семь дней и ночей скиталась
по лесу моя душа,
в окошко твое стучалась,
от стужи ночной дрожа.
Ночевала где приходилось,
в речном тальнике ютилась,
у омутов да яров,
по болотным мыкалась кочкам,
свертывалась клубочком
за поленницей дров...
Простила? Конечно, простила.
Только очень простыла,
только очень устала,
только все ей постыло.

Отчего же она все чаще
улетает опять в те чащи,
возле дома пустого вьется,
в забитые окна бьется?
Видно, что-то она узнала,
с чем-то сроднилась кровно,
что дороже радости стало,
нужнее ласки и крова.

* * *

Не опасаясь впасть в сентиментальность,
для нас с тобой такой угрозы нет.
Нас выручает расстояний дальность,
число разлук, неумолимость лет.
Нам ничего судьба не обещала,
но, право, грех ее считать скупой:
ведь где-то на разъездах и причалах
мы все-таки встречаемся с тобой.
И вновь — неисправимые бродяги —
соль достаем из пыльного мешка,
и делим хлеб, и воду пьем из фляги
до первого прощального гудка.
И небо, небо, синее такое,
какое и не снилось никому,
течет над нами вечною рекою
в сплетеньях веток, в облачном дыму.

* * *

Кто-то в проруби тонет.
Пустынно, темно.
Глубь чернеет опасно, бездонно...
Кем ты станешь?
На выбор мгновение одно.
Промедление смерти подобно.
Зал прокурен.
Уже замыкается круг.
Промолчать?
Против всех — неудобно...
Друг глядит на тебя,
он пока еще друг.
Промедление смерти подобно.
В дверь стучится любимая
ночью глухой:
— Я больна, голодна
и бездомна... —
Как ты взглянешь?
Что скажешь ей?
Кто ты такой?
Промедление смерти подобно.

* * *

«Дальние провода — лишние слезы».
Против пословицы не возражаю.
Рано иль поздно...
Лучше бы поздно.
Что ему, сердцу-то, мудрость чужая.
Лишние слезы...
А все-таки рядом,
все-таки близко,
все-таки около.
Пусть оно — счастье —
дышит на ладан,
все-таки близкое
лучше далекого.
Если придется мне рано иль поздно
в голой пустыне погибнуть
от жажды,
не говори мне — «Лишние слезы».
Дай перед смертью
напиться однажды.

* * *

В чем отказала я тебе,
скажи?
Ты целовать просил —
я целовала.
Ты лгать просил, —
как помнишь, и во лжи
ни разу я тебе не отказала.
Всегда была такая, как хотел:
хотел — смеялась,
а хотел — молчала...
Но гибкости душевной есть предел,
и есть конец
у каждого начала.
Меня одну во всех грехах виня,
все обсудив
и все обдумав трезво,
желаешь ты, чтоб не было меня...
Не беспокойся —
я уже исчезла.

* * *

А может быть, останусь жить?
Как знать, как знать?
И буду с радостью дружить?
Как знать, как знать?
А может быть, мой черный час
не так уж плох?
Еще в запасе счастья часть,
шепотка крох...
Еще осталось: ночь, мороз,
снегов моря
и безнадежное до слез —
«Любимая!».
И этот свет, на краткий миг,
в твоём лице,
как будто не лицо, а лик
в святом венце.
И в три окна, в сугробах, дом —
леса кругом,
когда февраль, как белый зверь,
скребется в дверь...
Еще в той лампе фитилек
тобой зажжен,
как желтый жалкий мотылек,
трепещет он...
Как ночь души моей грозна,
что делать с ней?
О, честные твои глаза
куда честней!
О, добрые твои глаза
и, словно плеть,
слова, когда потом нельзя
ни спать, ни петь.

· · · · ·
Чуть-чуть бы счастья наскрести,
чтобы суметь
себя спасти, тебя спасти,
не умереть!

* * *

Нам не случалось ссориться, —
я старалась во всем потрафить.
Тебе ни одной бессонницы
не пришлось на меня потратить.
Не добычею,
не наградой —
была находкой простою,
оттого, наверно, не радую,
потому ничего не стою.
Только жизнь у меня короткая,
только твердо и горько верю:
не любил ты свою находку —
полюбишь потерю.

* * *

Человек живет совсем немного —
несколько десятков лет и зим,
каждый шаг отмеривая строго
сердцем человеческим своим.
Льются реки, плещут волны света,
облака похожи на ягнят...
Травы, шелестящие от ветра,
полчищами поймы полонят.
Выбегает из побегов хилых
сильная блестящая листва,
плачут и смеются на могилах
новые живые существа.
Вспыхивают и сгорают маки.
Истлевает дочерна трава...
В мертвых книгах
крохотные знаки
собраны в бессмертные слова.

Стихи

1969

* * *

Сгорели рощи,
травы посерели,
морозы предвещает тишина.
Вы замечали мужество сирени?
Под первым снегом
зелена она.
Ей очень страшно по ночам,
когда
весь мир до звезд
раскрыт и обнажен,
и ветер режет медленным ножом,
и каменной становится вода.
Все толще лед
на беззащитной коже,
все тяжелее снежные пласты...
Ее приговоренные листья
беззвучно задыхаются от дрожи.
А поутру ты видишь, что она
стоит в снегу.
Мертва, но зелена.

* * *

Чистый, лучистый
на землю лег
первый осенний снег...
Ну почему так ты далек,
милый мой человек?
Мне бы из снега снежки лепить,
мне бы тебя
без оглядки любить,
счастливый твой слушать смех,
пить с твоих губ снег...
Мне бы дров принести,
огонь развести,
картошку испечь в золе,
и чтоб ночь была,
и метель мела
по нашей с тобой
земле.
Денек да денек, да еще денек,
человечий недолог век...
Чистый, лучистый
на землю лег
первый осенний снег.

* * *

Тебе знаком сумбур ночей,
бессонницы знакомы,
тебе знаком язык вещей,
подводных дум законы...
Что мы с тобою колдуны —
узнала в первый день я;
чернели в море валуны,
как лежбище тюлене.
Меж ними лунная вода
безжизненно сверкала,
светилась облаков гряда
и пепельные скалы.
И влага лунная лилась
сквозь перистые листья
на ту пору, где в первый раз
с тобою обнялись мы.
Теперь-то ясно — неспроста
в полночном мире в этом
светилась даже темнота
потусторонним светом...
Мы не стары, и не мудры,
и счастливы едва ли,
но сколько же мы с той поры
с тобой наколдовали!

* * *

Терпеливой буду, стойкой,
молодой, назло судьбе!
Буду жить на свете столько,
сколько надобно тебе.

Что тебе всего дороже,
то и стану я дарить.
Только ты меня ведь тоже
должен отблагодарить —

молодым счастливым взглядом
в тихом поле, при луне,
тем, что ты со мною рядом —
как с собой наедине.

Правдой сердца, словом песни,
мне родной и дорогой,
даже если, даже если
ты отдашь ее другой.

* * *

Нельзя за любовь — любое,
нельзя, чтобы то, что всем.
За любовь платят любовью
или не платят совсем.

Принимают и не смущаются,
просто благодарят.
Или (и так случается!)
спасибо не говорят.

Горькое... вековечное...
Не буду судьбу корить.
Жалею тех, кому нечего
или некому
подарить.

* * *

Летит, как подбитая птица,
оранжевый парус косой.
Взрывается, блещет, дымится
морская гремучая соль.

Все море в холмах и оврагах,
зеленое, словно трава...
И вздумал же хвастать отвагой
какой-то сорвиголова!

Камней ослепительный глянец,
сверканье воды и небес...
В нем, словно летучий голландец,
оранжевый парус исчез.

Но снова, как рыжее пламя,
возник из лиловых пучин...
Наверно, тягаться с валами
надумал он не без причин.

Наверно, беда приключилась,
наверно, загрызла тоска.
Наверно, девичья немилость
и вправду страшит рыбака.

Он сутки бы, может, проплавал,
промок и продрог бы насквозь,
чтоб только услышать: — У, дьявол!
Смотрела, так сердце зашлось!

* * *

Знаю я бессильное мученье
над пустой тетрадкой в тиши,
знаю мысли ясное свечение,
звучную наполненность души.
Знаю также быта неполадки,
повседневной жизни маету,
я хожу в продмаги и палатки,
суп варю, стираю, пол мету...
Все-таки живется высоко мне.
Очень я тебя благодарю,
что не в тягость мне земные корни,
что как праздник
праздную зарю,
что утрами с пенем флейты льется
в жбан водопроводная вода,
рыжий веник светится как солнце,
рдеют в печке чудо-города...
Длится волшебство не иссякая,
повинуются мне
ветер, дым,
пламя, снег и даже сны,
пока я
заклинаю именем твоим.

* * *

За водой мерцает серебристо
поле в редком и сухом снегу.
Спит, чернея, маленькая пристань,
ни живой души на берегу.
Пересвистываясь с ветром шалым,
гнется, гнется мерзлая куга...
Белым занимается пожаром
первая осенняя пурга.
Засыпает снег луга и нивы,
мелкий, как толченая слюда.
По каналу движется лениво
плотная, тяжелая вода...
Снег летит спокойный, гуще, чаще,
он летит уже из крупных сит,
он уже пушистый, настоящий,
он уже не падает — висит...
Вдоль столбов высоковольтной сети
я иду, одета в белый мех,
самая любимая на свете,
самая красивая на свете,
самая счастливая из всех!

* * *

Никогда мы не были так далеки.
Но, забыв обиды свои,
самым злым доказательствам вопреки,
верю в прочность любви.
Не в мертвую прочность камня, о нет,
в живую прочность ствола...
И вот я стираю пыль с твоего
письменного стола.
Ласкаю, глажу живой рукой
книг твоих корешки,
и в тысячный раз теряю покой,
и в тысячный раз нахожу покой,
ухожу от своей тоски.
Бывают разлуки — особый счет,
как в бою на войне...
День за месяц,
месяц за год —
вот это зачтется мне.

* * *

Хорошо живу, богато,
все умею, все могу,
как плясунья по канату,
по судьбе своей бегу,
между небом и водой,
между счастьем и бедой...
Получается красиво,
всем приятна красота...
Кабы знать вам,
сколько силы
вымогает высота.
Миг один, одна неловкость —
и на дне...
по чьей вине?
До чего же эта легкость
сердце вымотала мне!

СОЛОВЕЙ

Давно мы живем здесь,
и каждый год,
законной порой своей,
у нас под окном соловей поет,
в центре города — соловей!
А камень
стеной обступает двор,
каждой пядью земли
дорожа,
и с сиренью
ведет многолетний спор
глухой забор гаража,
электричка на Киевской
в рог трубит,
гулко двигают поезда...
Никогда почти столица не спит,
не молчит почти никогда.
Никогда не понять
уму моему,
почему, для кого
он здесь?
Двор утопает в ночном дыму,
пронизан сверканьем весь...
И воздух, будто с полей, —
свежей,
и знаю: так же как я,
настежь окошки,
семь этажей
слушают соловья,
выцветают созвездья
над морем крыш,
беззвучно плывет
самолет...
Отчего это в мире
такая тишь,
когда соловей поет?

* * *

В желтых липах
ровный ропот ветра,
улица пустынна и длинна.
Высоко над зданием Моссовета
мутная холодная луна.
Телеграф...
Над входом — голубое, —
шар земной, знакомый с детства нам...
Трудно разговаривать с тобою
на сухом наречье телеграмм.
Суток пять пути...
Какая даль-то!
Вот уж впрямь —
за тридевять земель.
Словно жестяная, по асфальту
кружит, кружит
листьев карусель.
Человеку что ни дай — все мало!
Знаешь, мне представились сейчас
два непроходимые квартала,
бездной разделяющие нас.
Те же лины,
тот же ропот ветра,
тот же шар над входом, голубой.
Друг ты мой,
какое счастье это,
что живем с тобой одной судьбой,
что всего пять тысяч километров
разделяют нынче
нас с тобой!

* * *

Нынче детство мне явилось,
приласкало на лету.
Свежим снегом я умылась,
постояла на ветру.
Надышалась,
нагляделась, —
ну какая красота!
Дня бессолнечного белость,
далее хвойная черта...
Снежно-снежно.
Тихо-тихо.
Звон в ушах — такая тишь.
В темных сенцах пахнет пихтой,
у порога — пара лыж.
Пара струганых дощечек,
самodelь детских рук.
Сколько вещей и не вещей
снов скитается вокруг...
Где таилось,
где хранилось?
Вдруг припомнил человек:
хлебным квасом пахнет силос,
спелой клюквой пахнет снег.

* * *

На допотопных лапах
ржавые якоря,
острый, терпкий запах
мокнущего корья.
Ветер низовый, свежий,
дождь моросит...
Вдали
в шкуре своей медвежьей
мглистые Жигули.
Сходней перила волглые,
буксира сиплый гудок,
окруженный Большою Волгою
детства крохотный островок.

* * *

Неяркий свет
в туманных окнах клубных,
колонн заолоделый алебастр,
и горы листьев,
и на черных клумбах
пучки сожженных заморозком астр.
Уже былой окраски не узнать их,
они уже сыграли роль свою..
А девушка
в блестящем синем платье,
как ласточка, присела
на скамью.
Она как будто светится румянцем,
пристали прядки потные к щеке,
еще живет в ней отрешенность танца,
ее рука
еще в чужой руке.
Еще необъяснимая усталость
ее страшит —
она едва жива..
И может быть, еще не догадалась,
что кружится от счастья голова.
За дальними моими рубежами,
в непостижимо давние года,
и мы друг друга
за руку держали
и думали,
что это навсегда.
Сияя в тусклых отсветах огня,
сидит она в своем блестящем платье..
И странно мне,
что девочкино счастье
такой счастливой делает меня.

* * *

В альбомчике школьном снимки:
Сосны. Снега. Стога.
В рыже-лиловой дымке
давние берега.
Все, что тогда любила, —
выцвело, отошло.
Помнится только — было.
Ну, было — и хорошо!
Вечером на закате,
в особый июньский день,
девочки в белых платьях
в школу несут сирень.
Прошлое на закате
солнцем озарено.
Девочки в белом платье
нет на земле давно.
Это не боль, не зависть, —
юности милой вослед
смотрит не отрываясь
женщина средних лет.
Давнее теплое счастье
мимо нее прошло.
Кивнуло ей, усмехнулось
и скрылось... И хорошо!
И хорошо, что годы
изменчивы, как река.
Новые повороты,
новые берега.

АКАЦИЯ

Вросший по пояс в землю,
в три окошечка дом,
хоть немного ты помнишь
о том, молодом,
бледно-смуглом, курчавом
постояльце твоём,
как смотрел, как молчал он,
с кем встречался вдвоем?
Как с улыбкою смутной
жег свечу до зари?
Ну припомни, напомни,
сердце мне озари!
Спит старуха акация,
опершись на забор...
Может быть, любовался он,
проходя через двор,
ею — тоненькой девочкой,
в самой первой красе,
трогал рыжие кисти
в осенней росе?
А она отражалась,
любясь собой,
в глубине его взгляда,
в темноте голубой?
Только память об этом,
словно пленный гонец,
замурована где-то
в сотне плотных колец.
Узловатые корни,
в белых шрамах кора...
Говорит сторожика:
«Умирать ей пора!»
Ну, а он-то останется...

Раздвигая века,
к поколениям протянется
с талисманом рука.
Люди, солнце и ветер
с ним всегда,
все равно...
Есть, конечно, бессмертье,
только редким дано.

ЗВЕЗДА

Было, было, — ночи зимние,
черных сосен купола...
Невообразимо синяя,
надо всем звезда плыла.
На путях преград не ведая,
навсегда себе верна,
над обидами, над бедами,
над судьбой плыла она.
Над холмами, над пригорками,
над гудроном в корке льда,
над бессонницами горькими,
над усталостью труда,
опушенная сиянием,
в ледяной пустынной мгле,
добрым предзнаменованием
утешая душу мне.
Не сбылись ее пророчества,
но прекрасней, чем тогда,
над последним одиночеством
синяя плывет звезда.

ПОЛДЕНЬ

Я сама себе кажусь девчонкой,
ни о чем не думая, живу.
Хлеб макаю
в банку со сгущенкой,
воду пью, — и навзничь, на траву.
И лежу.
И отплываю в небо.
В небе тучек перистых косяк.
Их березы ловят, ловят в невод,
а они не ловятся никак.
Ускользают, уплывают тучки.
Пахнет сеном.
Около виска
серебрятся пряжею паучьей
два колючих, сизых колоска.
Иногда уже привычный рокот,
грохот, рев на части воздух рвет.
Колесницею Ильи-пророка
небо прорезает самолет.
Косокрылый ТУ летит к столице.
Встряхнута земля, оглушена.
Но минута-две — и устоит
взбаламученная тишина.
Только слаще станет и бездонней,
только синь синей над головой...
И опять, опять твои ладони,
сны, заполненные тобой.

* * *

Над скалистой серой кручей
плавал сокол величаво,
в чаще ржавой и колючей
что-то сонно верещало.
Под румяною рябиной
ты не звал меня любимой,
целовал, в глаза не глядя,
прядей спутанных не глядя.
Но сказать тебе по чести,
и ничуть не огорчалась, —
так легко нам было вместе,
так волшебнo тень качалась,
так светло скользили блики,
так вода в камнях сверкала...
Уж такой ли грех великий,
чтобы нам такая кара?
День беспечный, быстротечный...
Так ли мы виновны были,
чтоб друг к другу нас навечно
за него приговорили?

* * *

Просторный лес листвою перемело,
на наших лицах — ответ бледной бронзы.
Струит костер стеклянное тепло,
раскачивает голые березы.
Ни зяблика, ни славки, ни грача,
беззвучен лес, метелям обреченный.
Лесной костер грызет сушняк, урча,
и ластится, как хищник прирученный.
Припал к земле, к траве сухой прилег,
ползет, хитрит... лизнуть нам руки тщится...
Еще одно мгновение — и прыжок!
И вырвется на волю, и помчится...
Украдено от вечного огня,
ликует пламя, жарко и багрово...
Невесело ты смотришь на меня,
и я не говорю тебе ни слова.
Как много раз ты от меня бежал.
Как много раз я от тебя бежала.
...На сотни верст гудит лесной пожар.
Не поздно ли спастись от пожара?

* * *

И сам ты не знаешь,
сам ты не знаешь,
какую открыл
светоносную залежь,
какое великое
дал мне богатство...
За это тебе
сторицей воздастся!
А то, что ничем отдать
не смогла я, —
ну что же, ну что же,
не я, так другая.
А то, что мне трудно, —
ну что же, ну что же.
Дается труднее —
стоит дороже!
Меня ты не встретишь,
письма не напишешь,
но только не смей забывать меня,
слышишь?
Хочу, чтоб глаза твои
так же светились,
как в полночь,
когда мы у двери простились,
хочу, чтобы сердце
так же стучало,
как там, над рекою,
в начале начала...
Чтоб сердце твое,
как в начале начала,
всегда мое имя
улыбкой встречало.

СВОДКА ПОГОДЫ

Где-то в громе и блеске
пролетает гроза.
Раскрывают пролески
голубые глаза.
Ты идешь по дороге,
а она далека,
и слетают под ноги
тебе облака.
Ты плечом отряхаешь
с веток перлы дождя,
ты по небу ступаешь,
синевы не щадя,
ты кидаешь окурки
посреди облаков,
ты — в распахнутой куртке,
потемневшей, намокшей,
с головой непокрытой,
идешь, мой хороший,
идешь, мой любимый
на веки веков.
Голубые пролески!
Погляди, погляди!
Никому не известно,
что у нас впереди.
.
Я недели считаю,
я в газетах читаю:
«...на Смоленщине — грозы,
на Кубани — дожди...»

* * *

Просыпаюсь с той же улыбкою,
с которой вчера заснула.
Просыпаюсь от света,
мглистого, зыбкого,
от городского смутного гула.
Выхожу в незнакомое, неизвестное,
вступаю в таинственное, прелестное,
на ходу глотаю прохладу
мандариновых долек,
забредая в какой-то старый каменный дворик,
кланяюсь дому, — какой ты прекрасный,
древний,
кланяюсь темной оgrade,
старым деревьям...
Здравствуй, ель! Ты как будто из шелка,
ты просто чудо!
Давай познакомимся без посредников.
Я тебя не забуду... Я не забуду
этот дождик — тоненький, реденький,
который падает так нелепо —
прямо с ясного неба...
Да это совсем и не дождь, — это туман
спускается,
это небо само спускается,
льнет и ласкается,
и лучи сквозь туман проникают — спокойные,
длинные,
а над туманом горы всплывают дымные...
Город света... Мне в наше свиданье не верится...
Но колотится сердце мое смятенное,
незнакомое счастье в сердце шевелится,
как дитя, еще не рожденное.

* * *

Ты помнишь, —
только ели
размеренно шумели...
Ты помнишь, —
только славка
насвистывала сладко...
Свистела, как умела,
лесная невеличка,
порою за горою
гремела электричка,
и снова все стихало,
и снова все молчало...
Ты помнишь, —
только сердце
стучало,
стучало...
И мы молчали оба
в медовом зное лета.
Ты помнишь?
Мне-то
это
не позабыть до гроба.

* * *

Говоришь ты мне:
— Надоела грусть!
Потерпи чуть-чуть,
я назад вернусь.

Хочешь ты любовь,
как настольный свет:
повернул — горит,
повернул — и нет.

Хочешь — про запас
(пригодится в срок), —
а любовь не гриб,
не солится впрок.

Жить по-своему
не учи меня,
или есть огонь,
или нет огня!

* * *

Я люблю тебя.
Знаю тебя всех ближе.
Всех лучше. Всех глубже.
Таким тебя вижу,
каким никто не видал, никогда.
Вижу в прошлом и будущем,
сквозь разлуки, размолвки, года...
Я одна тебя знаю таким,
какой ты на самом деле.
Я одна владею сердцем твоим,
больше, чем все владельцы,
владею!
Ведь оно у тебя
как зачатый клад:
не подступишься —
чудища, пропасти, бесы...
Я зажмурилась.
Я пошла наугад.
В черных чащах плутала,
взбиралась по кручам отвесным,
сколько раз готова была отступить,
сколько раз могла разбиться о скалы...
Я люблю тебя.
Я не могу не любить.
Не могу уступить!
Это я тебя отыскала!

* * *

Я, наверно, слишком часто плачу:
слезы накликают неудачу.
Слишком мало
счастью доверяю
и его доверие
теряю...
Счастье любит
смелых и отчаянных,
вечно опечаленных
боится.
Им оно не дарит
встреч нечаянных,
им оно во сне и то не снится!

РАЗМЫШЛЕНИЯ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сегодня день рожденья моего.
На размышленья он меня наводит:
во-первых, мне тревожно
оттого,
что старость где-то по соседству бродит.
Она еще не близко, но уже
необходимо быть настороже...
Не то войдет в незапертые двери
и с ходу станет соблазнять меня
возможностью погреться у огня,
покоем ночи и бездельем дня,
и как ручаться —
вдруг я ей поверю?
А дел-то у меня невпроворот,
и жить не бог весть сколько
мне осталось...
Сказать придется:
— Извините, Старость,
мне не до вас, побудьте у ворот.—
Затем смущает несколько меня
смешная мысль:
а вдруг бы так случилось,
что я на свет совсем бы не родилась
и этот день не праздновала я.
Представить только:
нет меня нигде.
Я не дышу. Не плаваю в воде.
Не ем, не сплю. Не бегаю на лыжах.
Не вижу красок — алых, синих, рыжих,
к любимому в объятья не спешу,
дочь не балую, книжек не пишу.
Какая дикость! В списках бытия
ни в мертвых, ни в живых

не числюсь я.

Но что меня действительно тревожит, —
кусоч прошедшей жизни.

Как он прожит?

Всегда ли я была честна? Смела?

Ни в чем ли я себе не солгала?

Нет, нет, ни в чем.

Моя спокойна совесть.

А вот живу я хуже, чем хочу:
терзаю близких и с друзьями ссорюсь,
коплю обиды, жалуюсь, ворчу.

Я столько раз хорошей стать решала,
и всякий раз мне что-нибудь мешало.
Безденежье, заботы, сплетни, грипп...

И вот глядишь — благой порыв погиб!

Любимый мой, прости меня за это.

Сам виноват, что в жены взял поэта,
что все идет в хозяйстве косо, криво,
что ты порой заброшен и забыт,
что иногда стихийны чувств порывы
и постоянно не налажен быт.

И все-таки ответ по правде мне:
ты рад тому, что есть я на земле?

Пусть твой ответ известен мне дословно,
но все-таки ты повтори его,
но все-таки скажи все это снова, —
ведь нынче день рожденья моего!

* * *

Я глаза открываю
и снова поспешно их жмурю —
сны хочу поглядеть,
не хочу расставаться с тобой...
Сквозь дремоту я слышу
шальную февральскую бурю,
громохание грома,
кипящего снега прибой...
Признаюсь откровенно —
мне действует это на нервы,
гул зениток всегда
нам казался похожим на гром.
До сих пор не забыла.
И не позабуду, наверно.
Да пора позабыть,
не окончится это добром!
Пусть под ливнем упругим
ликует в лугах разнотравье,
гром веселый и круглый
гремит, в облаках колеса...
Нет и речи о том,
что о прошлом забыть мы
не вправе,
есть короткое слово,
железное слово:
нельзя.
Если ты человек —
ты делами земли озабочен,
и живется тебе беспокойно и трудно
тогда.
Без труда вырастают
одни лопухи у обочин,
да и то это нам представляется,
что без труда.

МЕТЕОРИТ

Невзрачный камень на траве лежал,
лежало нечто, очень дорогое...
Обнюхал пес его
и убежал.
Мальчишка проходил
и пнул ногою...
Ученый взял и положил на стол.
Все думал и курил,
курил и думал,
кружил, бродил в потемках,
и набрел,
и, как всевышний,
душу в камень вдунул.
Обломок задышал, заговорил,
и замер человек, ушам не веря:
совсем не камнем этот камень был,
он был обломком жизни
в полной мере.
Печальный странник,—
миллионы лет
он к нам переплывал вселенной реку,
на нем лежал потусторонний свет
трагедии, неясной человеку.
Полмира он в смятение поверг,
иная жизнь
с ним на землю вступала...
А кто-то мельком
поглядел наверх...
— Что там?
— Да так, пустяк,—
звезда упала...

СЕРЫЙ ДЕНЬ

День был теплый
и все же какой-то жалобный.
Жигули закутались серой ватой.
Сквозь мелкий дождик, кропящий палубу,
солнце щурилось виноватое.
Пароходик пыхтел, тарахтел деловито,
от причала к причалу петлял по Волге...
Сбившись гурьбой, плащами укрытые,
распевали песни студенты-геологи.
А одна, молчаливая, удрученная,
на волну от винта глядела устало,
и на прутике щука зелено-черная
по ногам ее клейким хвостом хлестала.
Как во сне, она не меняла позы,
рыжеватые косы топорщились пухом,
и ползли прозрачные длинные слезы
по щекам обветренным и припухлым.
Я бок о бок с горем ее сидела,
утешить хотела, да побоялась:
вдруг сказала бы: вам-то какое дело!
Ну и пусть бы сказала... такая малость...
А быть может, все по-другому было бы,
и лучше бы ей, уютнее стало бы,
платочек достала бы, поговорила бы,
улыбнулась бы, может, девушка с палубы.
Сквозь дождливый туман белели карьеры,
мокрой шкурой дымился дубняк курчавый...
Может, был бы и день не такой уж серый,
если б я всю дорогу не промолчала.

КОТЕНОК

Котенок был некрасив и худ,
сумбурной пестрой раскраски.
Но в нашем семействе обрел уют,
избыток еды и ласки.
И хотя у котенка вместо хвоста
нечто вроде обрубка было,
котенок был —
сама доброта,
простодушный, веселый, милый...
Увы! Он казался мне так нелеп,
по-кроличьи куцый, прыткий...
Мне только что минуло восемь лет,
и я обожала открытки.
Я решила: кто-нибудь подберет,
другой хозяин найдется,
я в траву посадила
у чьих-то ворот
маленького уродца.
Он воспринял предательство как игру:
проводил доверчивым взглядом
и помчался восторженно по двору,
забавно брыкая задом.
Повторяю — он был некрасив и тощ,
его я жалела мало.
Но к ночи начал накрапывать дождь,
в небе загромыхало...
Я не хотела ни спать, ни есть, —
мерещился мне котенок,
голодный, продрогший, промокший весь
среди дождливых потемок.
Никто из домашних не мог понять
причины горя такого...
Меня утешали отец и мать:
— Отыщем... возьмем другого... —
Другой был с большим пушистым хвостом,
образец красоты и силы.
Он был хорошим, добрым котом,
но я его не любила.

* * *

Есть признания, —
их произносишь с трудом,
для всего объяснения придумав заранее...
Но большое и честное мужество в том,
чтоб себе не подыскивать
оправдания.
Чтобы прямо сознаться:
мол, так-то и так,
жалко нервов
и времени тратить не хочется...
А товарищ... ну что же,
он сам не дурак,
что же мне-то без сна
до рассвета ворочаться?
Зря, лукавое сердце,
как заяц в кусты,
ты от горя чужого
старательно прячешься.
Погоди, — еще, может, спохватишься ты
и, хлебнув одиночества,
вдоволь наплачешься.
И с обидою скажешь,
что жизнь недобра,
и, быть может, в досаде
тебе и не вспомнится,
что когда-то ты сладко спала
до утра
и тебе не мешала
чужая бессонница.

* * *

Ты ножик вынул не спеша,
гордясь своим искусством,
и с маху сталь в кору вошла
с тугим и сочным хрустом.
Береза белая была
как тоненькое пламя.
Я сок березовый пила,
к стволу припав губами.
Еще несладкий ранний сок
из треугольной раны тек
капельками светлыми,
частыми, несметными...
По каплям жизнь ее текла,
лесная кровь сочилась...
Но чем помочь я ей могла
в беде, что приключилась?
Лишь помня о судьбе своей,
своей полна печали,
я чувствовала вместе с ней
мертвящий холод стали.

МОЯ МУЗА

На Парнасе
осудят меня за грехи:
я в хозяйственной сумке
таскаю стихи.
И представьте — легко уживаются в ней
счастье, нежность, надежда, разлука
рядом с пыльной картошкой
и горсткой груздей,
с банкой меда и перьями лука.
Уживаются горькие строки мои
и огурчики в белых накрапах,
проникает в тоску мою
бодрость земли,
огородов живительный запах.
Не заносчива, нет,
и не помнит обид
работающая моя муза.
Нас обеих всегда от души веселит
ощущенье зеленого груза.
А когда, невзначай, у нее на груди
безутешно расплачусь от горя,
утешает она:
— Не глупи, погоди,
это все переменится вскоре... —
И, смеясь, мне глаза вытирает платком,
и, удобное выбрав мгновенье,
дружелюбной рукою
сует мне тайком
в сумку новое стихотворенье.

* * *

Все равно ведь, поздно или рано, —
чем позднее, тем нужней вдвойне, —
ты отправишь мне радиограмму
на известной нам двоим волне.

Все равно ведь, поздно или рано,
времени не тратя на ответ,
в очередь к билетной кассе встану
и кассирша выдаст мне билет.

Все равно — на море или суше,
пусть еще не знаем — где, когда,
все равно — «спасите наши души!»
песни, самолеты, поезда!

ДАГЕСТАНСКАЯ НОЧЬ

Желто-тусклые фары,
рек невидимых гул,
в черной бездне —
янтарный,
словно соты,
аул...
В чьем-то доме ночевка,
тишина... темнота...
Моноotonно, как пчелка,
песню тянет вода.
Ядра завязей плотных
холодны и тверды:
гордость сердца чьего-то,
чьей-то жизни труды...
Сонно листьями плещет
сад, незримый в тиши,
но не лечит, не лечит
горный ветер души,
только хуже тревожит,
память мне бередя...
Нет, не будет...
Не может
счастья быть без тебя.
Поздно, поздно,
ах, поздно!
Все равно не помочь.
Раскаленные звезды...
Дагестанская ночь...

* * *

Саманный дымок завился над трубой,
а мы и на час не сумели прилечь.
И вот расстаемся надолго с тобой,
и в будущем нам
не обещано встреч.
Давно собираться пора
на вокзал.
Все явственней
краски осеннего дня...
Спасибо, что ты ничего не сказал,
ни словом одним
не утешил меня.
Ну что ж, поцелуй меня, добрый мой друг.
Еще мою руку чуть-чуть поддержи.
Любовь не боится
огромных разлук.
Любовь умирает
от маленькой лжи.

* * *

Пусть друзья простят меня за то, что
повидаться с ними не спешу.

Пусть друзья не попрекают почту, —
это я им писем не пишу.

Пусть не сетуют, что рвутся нити, —
я их не по доброй воле рву.

Милые, хорошие, поймите:
я в другой галактике живу!

* * *

Спор был бесплодным,
безысходным...
Потом я вышла на крыльцо
умыть безмолвием холодным
разгоряченное лицо.
Глаза опухшие горели,
отяжелела голова,
и жгли мне сердце, а не грели
твои запретные слова.
Все было тихо и студено,
мерцала инея слюда,
на мир глядела удивленно
большая синяя звезда.
Березы стыли в свете млечном,
как дым клубясь над головой,
и на руке моей
колечко
светилось смутной синевой.
Ни шороха не раздавалось,
глухая тишь была в дому...
А я сквозь слезы улыбалась,
сама не зная почему.
Светало небо, голубело,
дышало, на землю сойдя...
А сердце плакало и пело...
И пело...
Бог ему судья!

* * *

Я очень счастлива,
нету спора,
и на судьбу мне сетовать стыдно.
Но жизнь моя,
как снежные горы,
изумительна и пустынна.
Очень много врагов у меня на свете —
врагов могущественных и прекрасных,
которых я победить не в силах,
для которых я просто не существую.
О эти книги твои!
Все чаще
они тебя от меня уводят,
и разлука наша длится подолгу
до кратковременной новой встречи.
О эти мысли твои!
Все глубже
они становятся, все бездонней,
и все труднее сквозь них пробиться
простым и насущным утехам жизни.
Как всякая женщина, я ревнива,
но я предпочла бы любых соперниц,
с которыми можно соревноваться
и побеждать которых возможно.
А я люблю и книги, и мысли,
и теплый хлеб, и сырую землю,
и нежные руки, и оттого я
тебя счастливее несравненно.
И все-таки мне бесконечно грустно,
и все чаще думается с тревогой:
как можешь блуждать ты
где-то в столетях,
если так одиноко
сердцу родному?

* * *

Зернистый наст
в осевших талых пятнах,
слепающий свет и сто других примет...
Идем, и возвращаемся обратно,
и вновь — за километром километр...
Похожие на рыжие коврижки,
среди кирпично-розовых громад
подслеповато щурятся домишки,
встречая свой
последний в жизни март.
Здесь, у подножья камня и металла,
синее в палисадниках зима...
Я никогда девчонкой не видала,
как умирают старые дома.
Тогда старели, помню, без опаски
в провинциальном тихом городке
все эти застекленные терраски
и петушки резные на коньке.

...Вороний ор, грузовиков ворчанье,
сугробы, лужи, краны и леса,
твое несокрушимое молчанье,
твои незащищенные глаза,
твоей руки, обветренной, шершавой,
надежная земная теплота...
Опять, опять весенний ветер шалый,
биенье крови, сердца маета.
А жизнь вокруг справляет новоселья,
а воздух нестерпимо голубой,
и в то, чему нет имени доселе,
опять, опять — как в омут головой!
И только эти гнезда человечьи,
пустые, утонувшие в снегу,
напоминают мне, что все не вечно,
а я об этом слышать не могу!

* * *

Выросла не к месту
у забора елка,
ни красы, ни пользы,
никакого толку.
Раз пятнадцать на день
ты проходишь мимо,
есть ли елка, нет ли —
все тебе едино.
Я живу спокойная...
Вот и вечер скоро.
Зеленеет стройная
елка у забора.
Ты ее не срубишь,
жизни ей не сгубишь.
Ты меня не любишь, —
значит, не разлюбишь.

* * *

Я хотела по росе,
чтоб измокли ноги,
ты сказал:
— Пойдем, как все,
по прямой дороге... —
Я сказала:
— Круче путь, —
значит, дали шире... —
Ты ответил:
— Ну и пусть,
мы же всё решили...
— У меня одна душа! —
я сказала плача,
повернулась и ушла,
не могла иначе.
Оказались не просты
спуски и подъемы,
разводить пришлось костры,
залезать в солому,
вброд идти через ручей,
ежиться от ветра,
злые шорохи ночей
слушать до рассвета.
Все равно благодарю
свой характер вздорный
за чистейшую зарю
на вершине горной,
за цветов умытых дрожь,
за простор огромный...

Где-то ты сейчас идешь
по дороге ровной?

* * *

Оттепель.
Ветер с юга.
Сырая снежная полночь.
Я ничего не помню...
А ты —
что-нибудь
помнишь?
В ответах рыжих небо
дымчато, переменчиво...
Когда ничего не было,
и вспоминать
нечего.
Ведь ничего не было?
Ну приди же скорей
на помощь!
Я ничего не помню,
и ты ничего
не помнишь.
Только тучи летящие,
только пространство мутное,
только глаза молящие,
смятенные,
бесприютные...
Да разве же виновата я?
Ветер...
Поземка пенная...
Память наша проклятая,
память благословенная!

* * *

Ну конечно, все это было:
было темно, уныло,
тучи валили валом,
дуло и завывало.
Висела сутки и двое
в лесу водяная взвесь,
чудилось — мир водою
как губка пропитан весь.

А ненастье вёдром сменялось,
и солнце опять смеялось,
и земля от счастья шалела
под жарким его лучом,
ни о чем она не жалела,
не помнила ни о чем.

...Много раз это было.
Помню. Не позабыла.
Только устала очень,
слушая без конца,
как дождь в темноте хлопочет,
хлюпает и бормочет
у твоего крыльца.

Только зачем так долго,
дробный да затяжной...
Очень уж я продрогла, —
крыши нет надо мной.

* * *

Я поняла, —
ты не хотел мне зла,
ты даже был
предельно честен где-то,
ты просто оказался из числа
людей, не выходящих из бюджета.
Не обижайся,
я ведь не в укор,
ты и такой
мне бесконечно дорог.
Хорош ты, нет ли, —
это сущий вздор.
Любить так уж любить —
без оговорок.
Я стала невеселая...
Прости!
Пускай тебя раскаянье не гложет.
Сама себя попробую спасти,
никто другой
спасти меня не может.
Забудь меня.
Из памяти сотри.
Была — и нет, и крест поставь
на этом!
А раны заживают изнутри.
А я еще уеду к морю летом.
Я буду слушать, как идет волна,
как в грохот шум ее перерастает,
как, отступая, шелестит она,
как будто книгу верности
листает.
Не помни лихом.
Не сочти виной,
что я когда-то в жизнь твою вторгалась,
и не печалься —
все мое — со мной.
И не сочувствуй —
я не торговалась!

* * *

Нам бы жить-поживать
где-нибудь в разваливающей халупе,
да на ясной полянке,
кругом чтоб родные леса.
Чтобы тишь да краса,
да на солнечных листьях роса...
Здесь большая река
называется: Лиелупе,
корабельные сосны
упираются в небеса.
Здесь ворчливое море
вылизывает и холит
белогривые дюны,
усердно трамбует песок.
Чайки хрипло кричат
и срываются наискосок...
Нам пойти бы с тобой
в золотое вечернее поле.
Где ты? Близко ли? Далеко ли?
Был бы рядом со мной...
Дал бы добрую руку свою...
Мне тоскливо одной
в незнакомом красивом краю.

* * *

Не умею требовать верности:
нету — значит, не заслужила.
Не понимаю ревности,
той, что в руку бы нож вложила.
Не знаю обиды и гнева,
только взглядов боюсь участливых,
только думаю горько:
мне бы
эту улыбку...
Мне бы
эти добрые строки...
Мне бы
этих праздничных глаз сиянье...
Как была бы я счастлива!

* * *

Того, наверно, стою, —
осталось мне одно
кольцо не золотое,
слезами залитое,
как дни мои — темно.
Подарено с любовью,
поругано в тоске...
Ношу его по-вдовьи —
на левой руке.

СЕРДЦЕ СОБАЧЬЕ

Я ласкала приبلудного этого пса,
в лес брала с собой, хоть на полчаса.
Хвост крючком,
уши торчком, —
шел он рядом со мною
березняком.
Не боялся пес ледяной воды,
все старался найти мне
чьи-то следы,
разговоры душевные мы вели,
как-то раз костер в логу развели.
Пес всегда у крыльца меня поджидал,
поздней ночью до станции провожал.
Темнота, грязища, дождь проливной...
Говорю: «Оставайся!»
А он за мной.
Хвост крючком,
уши торчком,
а в горле моем
слезы комком...
Нагоняет пес на меня тоску:
все равно ведь
уюду сейчас в Москву.
И досадно мне,
и прогнать нельзя его:
плохо сердцу собачьему
без хозяина.

* * *

Бывало все: и счастье, и печали,
и разговоры длинные вдвоем.
Но мы о самом главном промолчали,
а может, и не думали о нем.
Нас разделило смутных дней течение —
сперва ручей, потом, глядишь, река...
Но долго оставалось ощущение:
не навсегда, ненадолго, пока...
Давно исчез, уплыл далекий берег,
и нет тебя, и свет в душе погас,
и только я одна еще не верю,
что жизнь навечно разлучила нас.

* * *

Нет, нет, мне незачем бояться
осенней, стынувшей воды...
А помнишь, мы пришли расстаться
на Патриаршие пруды?
Вода была, как небо, черной,
полночный сквер безлюден был,
кленовый лист
позолоченный,
слегка покачиваясь, плыл...
И отчего-то все молчало...
Какая тягостная тишь!
А сердце билось и стучало,
кричало:
— Что же ты молчишь?! —
Кричало и теряло силы,
но я не выдала его,
я ни о чем не попросила
и не сказала ничего.
Верна одна из истин старых,
что как ни дорог,
как ни мал,
но если выпрошен подарок,
он быть подарком перестал.
А ты со мною и поныне,
и вот уже прошли года,
и счастье наше — навсегда...
А где-то стынет,
где-то стынет
ночная черная вода.

* * *

Я бывала в аду,
я бывала в раю,
четверть века
искала я душу твою.
Отыскала ее
на такой вышине,
что взгляну я —
и сердце холодеет во мне.
Не затем, что дорога
долга и трудна, —
я готова идти к тебе
тысячу лет...
Только вот, понимаешь ли,
в чем беда, —
лет у меня
нет!

СОН

Мне все это снилось еще накануне,
в летящем вагоне, где дуло в окно...
Мне виделся город в дыму полнолуния,
совсем незнакомый, любимый давно.
Куда-то я шла переулком мощеным,
в каком-то дворе очутилась потом,
с наружную лестницей
и освещенным
зеленою лампой
чердачным окном.
И дворик, и облик старинного дома —
все было пугающе, страшно знакомо,
и, что-то чудесное вспомнить спеша,
во мне холодела от счастья душа.
А может, все было не так, а иначе,
забыто, придумано...
Будем честны:
что может быть неблагодарней задачи
невнятно и длинно рассказывать сны?
Коснись — и от сна отлетает дыхание,
с мерцающих крыльев слетает пыльца.
И — где оно, где оно? — то полыханье,
которое в снах озаряет сердца?
Но жизнь мне послала нежданную помощь:
я все отыскала — и город, и полночь,
и лестницу ту, и окошко в стене...
Мне память твердила: теперь-то ты помнишь?
А мне все казалось, что это во сне.

* * *

Воспоминанья милые,
черемуховый цвет...
Мне той весною минуло
всего семнадцать лет.
Окраина пустынная,
поемные луга...
Зачем, зачем любимому
другая дорогá?
Мы вместе с ним идем вдвоем,
рука в руке,
щека к щеке,
насквозь измочены дождем,
скользя спускаемся к реке.
Кричат грачи,
закат погас,
окрестности в дыму...
А та, наверно, ждет сейчас,
одна, в пустом доме...
И отчего-то я о ней
не помнить не вольна,
и все грустней мне,
все больней,
как будто я — она.
Мне что-то сдавливает грудь,
как будто знаю я —
когда-нибудь,
когда-нибудь
обманет он меня.

* * *

Там далёко,
за холмами синими,
за угрюмой северной рекой,
ты зачем зовешь меня по имени?
Ты откуда взялся?
Кто такой?
Голос твой блуждает темной чащей,
очень тихий,
слышный мне одной,
трогая покорностью щемящей,
ужасая близостью родной.
И душа,
как будто конь стреноженный,
замерла, споткнувшись на бегу,
вслушиваясь жадно и встревоженно
в тишину на дальнем берегу.

* * *

Ты ее по весне под окошком не сеял,
не болел за нее, что загубит мороз,
ты ее не растил,
ты ее не лелеял,
полведерка воды для нее не принес.
Ты набрел на нее невзначай,
ненароком,
прошлогоднее счастье
по свету ища,
ты приник к ее веткам —
серебряным, мокрым,
и роса по щекам покатилась, блеща...
Отцветала краса ее, облетала,
к волосам прилипала,
поземкой вилась,
и смеялась черемуха, и трепетала, —
не напрасно цвела,
дождалась! Дождалась!

* * *

Здесь никто меня не накажет
за тягу к чужому добру.
Худого слова не скажет,—
хочу и беру!
Беру серебро,
и лебяжье перо,
и рафинад голубой,
бисер и бирюзу,—
все увезу
с собой.
Всю красоту,
всю чистоту,
всю тишину возьму,
крыши в дыму,
морозной зари
малиновую тесьму.
Берез кружева крученые,
черное вороньё,
все купола золоченые
возьму я в сердце мое,
пусто, пусто в нем, обворованном...
Все я спрячу в нем, затаю,—
маленький город,
небо огромное,
молодость,
нежность,
душу твою.

* * *

Лес был темный, северный,
с вереском лиловым,
свет скользил рассеянный
по стволам еловым,
а в часы погожие
сквозь кусты мелькало
озеро, похожее
на синее лекало.
И в косынке беленькой,
в сарафане пестром,
шла к тебе я берегом,
по камушкам острым.
И с тобой сидела я
на стволе ольховом,
ночь дымилась белая
сумраком пуховым.
Сети я сушила
за избой на кольях,
картошку крошила
в чугуны на угольях.
До восхода в сенцах
не спала, молчала,
слушала, как сердце
любимое стучало.

* * *

Письма я тебе писала
на березовой коре,
в реку быструю бросала
эти письма на заре.
Речка лесом колесила,
подмывала берега...
Как я реченьку просила,
чтобы письма берегла.
Я бросала, не считая,
в воду весточки свои,
чтобы звезды их читали,
чтобы рыбы их читали,
чтоб над ними причитали
сладким плачем
соловьи,
и слезами обливалась,
и росой умывалась,
и тропинкой подымалась
в тихий домик на горе.
— Где бродила-пропадала?
— На реке белье стирала.
— Принесла воды? Достала?
— Ну а как же — два ведра!
— Что печальна?
— Так, устала.
— Что бледна?
— Крута гора.

* * *

Тебе бы одарить меня
молчанием суровым,
а ты наотмашь бьешь меня
непоправимым словом.
Как подсудимая стою...
А ты о прошлом плачешь,
а ты за чистоту свою
моею жизнью платишь.
А что глядеть тебе назад? —
там дарено, — не крадено.
Там все оплачено стократ,
а мне гроша не дадено.
А я тебя и не виню,
а я сама себя ценю
во столько, сколько стою, —
валютой золотою!
А за окном снега, снега,
зима во всю планету...
...Я дорога, ах дорога!
Да только спросу нету.

ГОЛУБКА

Она хрупка была и горяча
и вырывалась, крыльями плеща.
А у меня стучало сердце глухо,
и я ему внимала не дыша,
и мне казалось — это не голубка
на волю рвется, а моя душа.
Разжав ладонь, я выпустила птицу
в осеннем парке, полном тишины,
и отперла душе своей темницу:
— Лети на все четыре стороны!
Еще не веря в то, что совершилось,
растерянная, робкая еще,
она взлетела к небу,
покружилась
и опустилась на твое плечо.

* * *

Надо верными оставаться,
до могилы любовь неся,
надо вовремя расставаться,
если верными быть нельзя.

Пусть вовек такого не будет,
но кто знает, что суждено?
Так не будет, но все мы люди...
Все равно — запомни одно:

я не буду тобою брошена,
лгать не станешь мне, как врагу,
мы расстанемся как положено, —
я сама тебе помогу.

* * *

Будет, будет, будет дом,
не останемся без крова.
Будет дом моим трудом
возведён, дыханьем, кровью,
мужеством и теплотой,
преданностью и смиреньем...
Будет, будет — мой и твой,
в соснах, в зарослях сирени,
возле родника, в логу,
на прибрежном косогоре,
дом в тайге и дом на взморье,
дом в барханах, дом в снегу...
Не навеки, — на два дня
будет дом всегда и всюду,
если буду я, а я
буду,
буду,
буду!

* * *

Нынче долго я не засну,
мне приснятся плохие сны;
ты хотел мне отдать
весну,
отказалась я
от весны.
А она поет да поет
песню тоненькую в ночи,
а она заснуть не дает,
не прикажешь ей:
замолчи!
Ты хотел мне отдать весну,
горечь ветра,
капель в лесу,
ветки
с каплями на весу,
снега хрупкую бирюзу...
Не смогла я взять,
не смогу,—
не умею я быть в долгу.

* * *

О прошедшей жизни не скорблю...
Я люблю тебя,
 люблю,
 люблю,
потому что все с тобой —
 полет,
потому что все с тобой
 поет,
сосны,
 рельсы,
 провода поют,
потому что мне везде с тобой уют,
мне с тобой любые дебри —
 терема,
без тебя мне вся вселенная —
 тюрьма.
Я с тобой весна, земля, трава,
я с тобой жива,
 жива,
 жива!
Кровь во мне смеется и поет,
только смерть
 полет мой
 оборвет.

Из неопубликованного

ПРО ГЛАВНОЕ

Слышу голос утешающий,
вижу рук движение плавное...
— Понимаете, пока еще
не нашли вы что-то главное.
Здесь у вас волнует многое,
но пошли вы, к сожалению,
не широкою дорогою,
не в центральном направлении...
Уходя, киваю вежливо,
уношу листки шуршащие...
Прихожу сюда все реже я,
говорю себе все чаще я,
что к сердцам-то не раздольные,
не широкие и людные, —
а порой пути окольные,
а порой подъемы трудные,
а порой трясины топкие,
скалы, гладкие до ужаса...
Пусть не ходят люди робкие
там, где требуется мужество.
Не в погоне за известностью,
не в расчете на признание
я иду суровой местностью,
не имеющей названия.
И мои награды высшие
вне графы о награждении:
чья-нибудь печаль затихшая,
чье-нибудь сердцебиение.

Чье-нибудь раздумье строгое,
чья-нибудь надежда дерзкая...
...Нет, идти своей дорогою
у меня причина веская.
Как от корня — крона дерева,
так от сердца — дело славное...
...Нет, редактор, я уверена,
что про сердце — это главное!

* * *

Я люблю выдумывать страшное,
боль вчерашнюю берегу,
как дикарка,
от счастья нашего
силы темные
отвожу.
Не боюсь недоброго глаза,
а боюсь недоброго слова,
пуще слова — недоброго дела...
Как бояться мне надоело!
Хоть однажды бы крикнуть мне,
как я счастлива на земле.
Хоть однажды бы не таиться,
похвалиться,
да вот беда,—
сердце, сердце мое
как птица,
уводящая от гнезда.

МЕТЕЛЬ

Метет метель, уже влажна,
сугробы мягкие лепя,
по небу ветками скребя...
Уже февраль идет, а я
весну встречаю без тебя,
не друг тебе и не жена.
Вдали... а говорил: нужна!
Ничья... а говорил: моя!
Метель, метель,
снегов моря...
Хочу, чтоб сон меня скосил,
скосил и память погасил,
чтоб онемело тело, чтоб
сковал мороз хрустальный гроб,
чтоб дни и ночи — семь недель
мела, мела, мела метель,
чтобы слепящим синим днем
очнулась я в гробу моем
от губ твоих, от рук твоих,
от глаз отчаянных твоих...
Но проще наше бытие —
нет мертвых снов, хрустальных льдин,
я в рюмку лью валокордин
и пью во здравие твое.
Я сердцу говорю: ну, что ж,
терпи, авось переживешь...
не в первый раз... не в первый год...
Метель метет,
метет,
метет...

* * *

Я, видно, из графика выбилась где-то,
нелегкое время пришло для меня:
любое желанье под знаком запрета,
от красного света
до красного света
тащусь я по жизни, помехи кляня.
Я к дьяволу все светофоры послала б,
но только рискну напрямик, напролом —
встает на дороге, не слушая жалоб,
судьба с полосатым бесстрастным жезлом.
И я посреди суматохи и шума
гляжу убегающей радости вслед
и, сжав кулаки, дожидаясь угрюмо
когда, наконец, переменится свет.

* * *

Напрочь путь ко мне отрезая,
чтоб не видеть и не писать,
ты еще пожалеешь, знаю,
станешь локти еще кусать.
Чтоб не видеть...
Но ты увидишь.
Взглянешь — взгляда не отведешь.
Ты в метельную полночь выйдешь,
а от памяти не уйдешь.
— Обхватить бы двумя руками,
унести б ее за моря!
Почему же она такая?
Отчего она не моя? —
Снег летит над землей застылой,
снег рассыпчатый и сухой...
А ведь было бы счастье, было, —
оказался кузнец плохой.

* * *

Думаешь, позабудешь?
Счастливым, думаешь, будешь?
Что же, давай попробуй,
может быть, и получится,
только ты слишком добрый, —
добрые дольше мучатся.
И я ведь не злая,
да как пособить, не знаю.
Если буду с тобой встречаться,
не забудешь,
могу ручаться.
Если видеться перестану —
по ночам тебе снится стану.
Если мною обижен будешь,
так обиды не позабудешь.
А себя обидеть позволю —
к вечной нежности приневолю.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ АПРЕЛЯ...

Мгла... теплынь... двадцать третье апреля...
Черт, наверно, попутал меня,
закружил каруселью капли,
оглушил сумасшествием дня...
В дымке солнечной плавали зданья,
словно соль растворялась печаль,
я сказала всему: «до свиданья»,
я не знала, что надо — «прощай!»
Знала — путь будет трудным и длинным,
но одно повторяла: «спеши!»
Впереди так легко, так невинно
голубели владенья души.
Край неведомый, белые пятна,
мертвый лед, золотая руда...
Я тогда не вернулась обратно
и уже не вернусь никогда.
Год за годом — подъемы, обрывы...
Шаг за шагом, ступени рубя,
я иду... всё еще не открыла,
все еще открываю себя.

* * *

Бродит ветер по траве несмятой,
с листьями заводит болтовню,
на берегах пестрые щеглята
радуются ветреному дню.

Берега у речки не крутые,
только лучше не найдешь нигде...
Тополей чешуйки золотые
плавают на солнечной воде.

Пробегают речка, зеленея,
облака качая по пути...
Так бы вот идти, идти за нею
и до моря синего дойти.

* * *

Цветущих деревьев белели волны,
дымились, сверкали пеной сквозною.
Большой теплоход у белого мола
слепил глаза белизною.
Нетерпеливый, готовый в дорогу,
натянул он, как струны, тросы.
А народа у кассы
совсем немного...

Боже, как все легко и просто!
Назавтра солнце всплывет величаво,
лучами горячими нас разбудит.
И будет все в жизни, —
сначала, сначала,
и нашей дороге конца не будет...

.
Большой теплоход отошел от мола,
ушел в открытое море.
И сразу стало пустынно и голо,
запахло опять зимою.
Опять над горами сгрудились тучи,
полезли вниз, на откосы.
Навалились их грязно-белые туши
на цветущие абрикосы.
С перевала подул холодным, острым,
погасли глаза твои, похолодели...
Это только казалось — легко и просто.
Очень трудно на самом деле.

НА МОРЕ

Я шла сюда с душою темной,
лишенной мужества и сил,
но ветер шумный и огромный
меня схватил и ослепил.
Валы грозили и гремели
и наступали на меня,
и скользко вспыхивали мели
в шипенье красного огня.
К закату неся парус медный,
надменно выгнут и упрям,
и я припомнила, что дед мой
всю жизнь скитался по морям...
И я подумала о сыне,
как он, от всех морей вдали,
упорно, с крыльями косыми
выстругивает корабли.
Швыряя водорослей плети,
вскипали пенные горбы,
и в душу мне ворвался ветер
неуспокоенной судьбы.
И так смеялся, так гремел он,
закатным пламенем обвит,
что я припомнить не посмела
вчераших маленьких обид!

* * *

Поблескивает полотно
прогретой сталью рельс...
Давным-давно,
давленным-давно
мы шли сквозь этот лес.
Он от дождя тогда намок,
но, ветерком гоним,
пыльцы мерцающий дымок
уже всплывал над ним.
День был янтарно золотист,
и птичий свист
в ушах звенел,
и первый стебель зеленел,
буравя прошлогодний лист.
Шел по верхам тяжелый гуд,
и нарастал,
и гас...
...А ландыши-то отцветут
без нас на этот раз!
Без нас, без нас
завяжут плод
черемуха и тёрн,
и земляника отойдет,
и пожелтеет дерн.
Не буду я считать недель,
не стану ждать вестей...
А та раскидистая ель
все ждет к себе гостей.
Все ждет, все ждет
под хвойный свод...
Не позабудь примет:
за балкой — первый поворот,
четвертый километр.

* * *

Хороша, говоришь, красива?
Что ж клянешь ты ее с тоской?
Не кори, а скажи спасибо
быстрине ее колдовской.

И в погоду, и в непогоду
над речонкою склонена,
пьет осинка живую воду,
через то и жива она.

Вертушинке ли не струиться?
Нет иных у нее примет...
Если речка угомонится,
значит, речки на свете нет.

То мелеет, то прибывает, —
любо-дорого поглядеть...
Реки старыми не бывают,
им не надобно молодеть.

Не страшись ее круговерти,
не беги от воды хмельной, —
успокоится после смерти,
нету вечных рек под луной!

ПОГОДА ПЛОХАЯ

Как тугие жгуты кудели
в проводах повисают тучи...
Дождик сыплется не скудея,
неразборчивый и колючий.
То он сыплется, то он сеется,
то по стеклам забарабанит...
За работу берусь — не клеится,
подремать бы чуть-чуть,
так сна нет.
Вспоминаются все заботы,
все обиды и все печали:
вот неласков ты нынче что-то,
ты внимательней был вначале.
Быть со мной тебе неприятно,
разлюбил ты меня, похоже...
Впрочем, что же, вполне понятно,
есть красивее
и моложе...
Что мне делать теперь — не знаю!
Вот и дождик заладил на́зло.
Дребедень его жестяная
за пять суток в ушах навязла.
Одиночество неизбежно...

Но не знал ты о том, не ведал,
постучался влюбленный, нежный,
и конца мне придумать не дал!

ЛЕС

Розовой берёсты матовый блеск,
коры осинової зелень яркая...
Весь заплаканный,
теплый спросонья лес
полон шороха капель,
вороньего карканья.
Полон жизни,
незримой для чуждых глаз —
торопливых, рассеянных и незорких.
А для нас
мошкара, как дымок, затолклась,
и закат загорелся для нас
и погас,
и трава проросла для нас
на пригорках...
Мы с тобою, наверно,
чего-то стоим:
лес не прятал от нас свои чудеса,
он в туман одевался на полчаса,
а потом, оказалось, —
это роса,
допьяна он поил нас
этим настоем.
Так что кру́гом у нас голова пошла,
и ноги подкашиваются устало.
И тогда нам с тобою
понятно стало,
что у нас и у леса —
одна душа.
Он был такой же, как мы, хмельной,
мы слышали — он пел
в темноте вечерней,
он играл
то холодной, то теплой волной

своих воздушных тайных течений.
Он делился с нами
чем только мог,
был в забавах и выдумках неутомимым,
на пути он зажег для нас костерок,
чтобы мы надышались
бродяжьем дымом...
Никогда мы друг друга
так не любили,
как в этой глуши лесной,
когда мы сами с тобою были
лесом,
дождем,
весной...

БЕССОННИЦА

Ночи... ночи... пустынные, синие...
Мыслей вспененная река.
А слова — до того бессильные,
что за горло берет тоска.
Обжигает подушка душная,
и вступает рассвет в права,
и тяжелая, непослушная,
в дрему клонится голова.
И когда уж глаза слипаются,
где-то около четырех,
воробьи в саду просыпаются,
рассыпаются как горох...
Скачут, мечутся, ошалелые,
жизнерадостно вереща.
Пробивается солнце белое
из-за облачного плаща.
Зашуршали дворники метлами,
и, прохладой цветы поя,
шланг над брызгами искрометными
извивается как змея.
Не заснуть, как я и предвидела...
Все слышней за окном шаги.
Ночь сегодня меня обидела.
Утро, доброе, помоги!

ДЕТИ

На свете бывают
малые дети,
взрослые дети,
старые дети,
на розовых, пухлых
ничуть не похожие,
с мозолями,
с темной дубленой
кожею...
Но жадно вбирают
все неизвестное
глаза их широкие,
сердца их отверстые,
ребенок не может
глядеть свысока,
все в мире
признанья его удостоено:
от солнца и звезд
до простого куска
коры,
из которой лодка
построена.
О, как я люблюсь
твоею душой
с ее удивленьями
и откровеньями,
почти неподвластной
течению времени,
такую ребячьей,
такую большой!

И как ненавижу
в глазах твоих грусть,
когда ты считаешь
года минувшие.
Уходят? Уходят!
И ладно! И пусть!
Впереди еще, может быть,
самое лучшее.

О СОБАКАХ

Я люблю их. Всяких.
Холеных и грязных,
маленьких и огромных,
красивых и безобразных.
Я всегда им лучший кусок
уступаю,
завожу знакомство,
в дружбу вступаю.
Я всегда нахожу им
слова приветия,
и они уважают меня за это.
Нет, такая любовь моя
не чудачество —
я высоко ценю
их душевные качества.
Собаке
(в это искренне верю я)
несвойственны подлость
и лицемерие.
Ее не купишь за хлебную корку,
собачья верность
вошла в поговорку.
И та, что стала всемирно известной,
была такой же
доброй и честной.
Не скрываю —
мне плакать хотелось ночью,
когда становилось особенно ясно,
что ничем абсолютно
нельзя помочь ей,
что прекрасное
так смертельно опасно.
Но я в глубине души
гордилась,

что не крыс, не свинок безмозглых
орава —

что она выше всех
сейчас находилась,
что на славу она
заслужила право!

Одно оскорбляло меня — не скрою, —
когда называли статьи отчетные
собаку — товарища и героя —
«подопытное животное».

Возраженья предвижу:
дескать, не нравится, —
карты в руки!

Пишите стихи и повести!

Что же, ладно, согласна...

Пускай останется
этот термин на ихней научной совести.

Дорогие друзья!

Молодые... Старые...

Еще больше любить вас
отныне стала я,
еще больше ценить начала
и даже

нашу рыжую Чапу
почтительней глажу,
с уважением искренним,
с гордостью истинной.
Как-никак, соплеменница
той, единственной.

* * *

Я жду тебя.
Я долго ждать могу.
Я не дышу — надежду берегу.
Трепещущий предсмертно огонек...
Такой она мне видится воочью.
На ней всех сил моих сосредоточье,
на ней скрещенье всех моих дорог,
она существования сердцевина,
в короткий блеск сведенная судьба,
в ней все соединилось воедино:
отчаянье, заклинье и мольба.
Мой кругозор неизмеримо сужен,
все, что не ты, — междупланетный мрак.
Я жду тебя.
Ты до того мне нужен,
что все равно мне, друг ты или враг.
Я жду тебя
всем напряженьем жизни.
Зря говорят — игра не стоит свеч.
Когда лучи вот так сойдутся в линзе,
любой пожар
под силу им разжечь!

* * *

Зачем судьбу который раз пытаешь?
Любовь, как ветку, гнешь да гнешь в дугу?
Ты без нее счастливее не станешь,
а я прожить на свете не смогу.
Да, все идет неладно,
криво, косо,
да, время нам
к закату, под уклон...
А ветке что?
Она цветет без спроса,
и никакой закон ей
не закон!
За то ты так ее и ненавидишь,
ты хочешь, чтобы все —
как надо быть,
ты в ней противоречье смыслу видишь
и все-таки жалеешь загубить.
Брось, не жалей,
сгибай и перекручивай,
мол, все равно когда-нибудь зима...
Ты только оправданий не вымучивай,
я для тебя их подыщу сама.
Сломай — и все!
И крест поставь на этом,
а лучше кол осиновый забей.
Уж вот когда она
зеленым ветром
пойдет хозяйничать
в душе твоей!

* * *

И вот ты купе закрываешь,
включаешь ночник голубой...
Ты знаешь,
ты только скрываешь,
что еду я вместе с тобой.
То колкий, то мягкий не в меру,
то слишком веселый подчас,
ты прячешь меня неумело
от пристальных горестных глаз.
Названья полуночных станций
дежурные сонно твердят...
О если бы выйти, остаться,
пропасть, воротиться назад...
Но вместе, да, вместе мы выйдем
на утренний влажный перрон,
и бледное небо увидим
с оравой орущих ворон,
дорогой, подернутой дымкой,
мы в хвойные дали пойдем,
и стану я жить невидимкой
в неласковом доме твоём,
и будут недели молчанья
медлительны и горьки,
и буду я плакать ночами
на бревнышке возле реки.

* * *

Я давно спросить тебя хотела:
разве ты совсем уже забыл,
как любил мои глаза и тело,
сердце и слова мои любил...

Я тогда была твоей отрадой,
а теперь душа твоя пуста.
Так однажды с бронзового сада
облетает поутру листва.

Так снежинки — звездчатое чудо —
тонким паром улетают ввысь.
Я ищу, ищу тебя повсюду,
где же ты? Откликнись, отзовись.

Как мне горько, странно, одиноко.
В темноту протянута рука.
Между нами пролегла широко
жизни многоводная река.

Но сильна надежда в человеке,
я ищу твой равнодушный взгляд,
все еще мне верится, что реки
могут поворачивать назад.

* * *

Нам не позволено любить.
Все, что с тобою связано,
мне строго-настрого забыть
судьбой моей приказано.

Но помню я всему назло
любви часы беспечные,
и встречи памятной число —
мое. На веки вечные!

И низко стелющийся дым
с мерцающими искрами,
и поле с деревом седым
под облаками низкими...

Вагон, летящий в темноту,
покачиванье мерное...
И гаснут искры на лету, —
ты помнишь их, наверное?

Так каждый миг, и час, и год
мои. На веки вечные,
пока наш поезд не придет
на станцию конечную!

* * *

Я так хочу, чтобы ладони, губы...
Все голубое... Ясная вода...
И мне все снятся поезда — к чему бы?
Чужие пасмурные города,
чужие люди,
грузчики, старухи...
Тебя в базарной толчее ищу,
твой голос гаснет
в телефонной трубке,
и я «постой, постой, постой!» кричу...
На полчаса, на полминуты — рядом!
Но сны опять бессмысленны, грустны.
Как жалко, что не доставляют на дом
заранее заказанные сны!
Уже заголубел проем оконный,
сочит сквозь штору пасмурную мглу...
Я жду тебя безропотно. Спокойно.
Я жду. Я жду.
Я больше не могу.

* * *

Сто раз помочь тебе готова,
любую ложь произнести,
но нет же, нет такого слова,
чтобы сгоревшее спасти.
Не раздобыть огня из пепла
и костерка не развести...
Все так печально, так нелепо, —
ни отогреть, ни увести.
Привыкла я к унынию ночи
и к плачу осени в трубе...
Чем ты суровей, чем жесточе,
тем больше верю я тебе,
тем все отчаяннее, чище
любовь моя и боль моя...
Так и живем на пепелище,
так и бедуем — ты да я.
Храню золу, латаю ветошь,
приобщена к твоей судьбе...
Все жду — когда меня заметишь,
когда забудешь о себе.

* * *

Я без тебя училась жить,
я принялась за дело.
Костер сумела я сложить, —
гудело, а не тлело.

Я без тебя училась жить...
Как сердце ни болело, —
сумела песню я сложить,
не плакала, а пела.

На озаренные кусты
глядела ясным взглядом...
Но вышел ты из темноты
и сел со мною рядом.

* * *

Неразрешимого не разрешить,
неисцелимого не исцелить,
не надо прошлого ворошить,
оттого что тогда
невозможно жить.
Только тронь — и сразу настезь окно,
и опять меня хлещет колючий снег,
и опять за окном
как в гробу темно,
и поднять не могу я опухших век.
И опять, опять ты стучишься в дверь,
говоришь мне:
— Прости... не хотел, поверь... —
А прощать-то за что?
Разве ты виной
тому, что всё на меня войной,
тому, что ничем души не согреть,
тому, что лечь бы да умереть,
тому, что на тысяча первом дне
ничего не знаешь ты обо мне.

* * *

Боюсь не ссоры, не разлуки,
а равнодушья этих встреч,
когда глаза твои и руки,
твои слова, твои обмолвки
и теплое твое дыхание
мне от тебя не уберечь.
Когда, не пророня ни слова,
слежу, спокойствие храня,
как ты свои подарки
снова
выкрадываешь у меня.
На сердце словно пласт тяжелый
глухой тоски — сырой земли...
Я не хочу тебя чужого,
мне лучше, если ты вдали.
Молчи, не говори ни слова,
не пересчитывай грехи...
Я буду ждать того, родного,
он помнит — пели петухи...
В ночи печально и протяжно
перекликались...
Пряно, влажно
дышала осень...
И стихи
входили в комнату без стука
и разговаривали вслух:
«...Листья падают, листья падают,
стонет ветер, протяжен и глух...»
Он был со мной в часы рассвета,
когда туман в окне редел,
он знает это,
помнит это,
ведь он же в сердце мне глядел...
Он видел рощи в дымке млечной
и снег на шпалах впереди...
Он мой любимый, мой навечно...
Оставь. Не трогай. Уходи.

* * *

Я мечусь,
как сухой листок на ветру,
неверием в жизнь больна:
а вдруг состарюсь?
А вдруг умру?
А вдруг начнется война?
И вдруг, наконец,
ты отыщешь ту,
лучше которой нет,
и погрузится мир в темноту
на миллиарды лет?
А за окнами — дождь,
дождь в три ручья,
небо в желтом дыму...
Может быть,
я и в самом деле
ничья?
И жизнь моя ни к чему?
Где бы мне
отогреться душой,
куда бы себя девать?
Небо чужое, город чужой,
чужие стол и кровать.
Говорят:
Москва уже вся в снегу,
была большая метель...
Не могу!
Понимаешь ты — не могу
без тебя даже двух недель!
Задыхаюсь в тоске,
сама не своя,
просыпаюсь от слез слепа...
...Сила моя! Вера моя!
Счастье мое! Судьба!

СНОВА ЛИТВЕ!

Я была с тобою рядом,
может, слишком мало,
но ведь я тебя не взглядом —
сердцем увидала.
Я была такой богатой,
столько я имела:
темный, плотный, кисловатый
хлеб литовский ела.
Сладкий сок литовских вишен,
солнца хмель пила я,
под гостеприимной крышей
сладким сном спала я.
Я летала, словно птица,
лаской обогрета,
я заглядывала в лица,
полные привета, —
всё хотела убедиться,
что не снится это.
Как меня ты одарила
прелестью земною,
сколько счастья разделила,
радуясь со мною?
И в недобрый час печали
не была одна я,
ты стояла за плечами,
как сестра родная.
С глаз моих обиды слезы
вытерла не ты ли?
Не твои ль снега и звезды
мне в пути светили?
Первый луч на черепицах
первый ветер с юга...
Так возможно ль разлучиться,
позабыть друг друга?

* * *

Очень тягостно, очень плохо,—
некрасива, нехороша,
зарастает чертополохом,
засыхает моя душа.
Сердце, сердце,
гнездо без птицы,
пыль, да мусор, да тишина...
Неужели не возвратится,
не запоеет она?

* * *

А я с годами думаю все чаще,
что краденое счастье — тоже счастье,
как ситник краденый — все тот же хлеб
насущенный,
спасенье жизни неблагополучной.

А может, несравненно слаще даже.
Поверьте, это не в защиту кражи,
но просто я убеждена, что сытый
не представляет, сколько стоит ситный...

* * *

Прости, любовь моя ссыльная,
прости за то, что молчу,
прости за то, что не сильная
и сильной быть не хочу.

Прости за то, что несмелая,
от беды не уберегла,
и помочь тебе не сумела я,
и убить тебя не смогла.

* * *

Я стою у открытой двери,
я прощаюсь, я ухожу.
Ни во что уже не поверю,—
все равно
напиши,
прошу!
Чтоб не мучиться поздней жалостью,
от которой спасенья нет,
напиши мне письмо, пожалуйста,
вперед на тысячу лет.
Не на будущее,
так за прошлое,
за упокой души,
напиши обо мне хорошее.
Я уже умерла. Напиши!

ПОЭМЫ

Ворота на Клухор

I

Последний предвоенный год.
Уже июль к концу идет.
Становятся студеной зори.
Закаты ранние желты.
Как будто ближе стали взгорья
и четче снежные хребты...
Счастливым отдых на исходе.
Друзьям, сроднившимся в походе,
с горами расставаться жаль,
но план таков:
через Клухори
спуститься вниз, на берег моря,
где зреют сливы и миндаль.
В горах недолго длится лето
и рано стужей дышат льды...

Итак, мы вышли до рассвета
вверх по теченью Теберды.
Тысячелетних скал горбы
от мха иззелена-седы,
и камни масляные лбы
высовывают из воды.
Похожие на веера,
фонтаны брызг шумны, белы...
Литые глыбы серебра
стремятся с гулом изо мглы,
и на волны крутой разбег

взлетает, тельце накрень,
форель — творенье горных рек —
в багряных крапинках огня.
Трава густа, и лес высок,
промяты тропки у воды —
следы босых ребячьих ног,
следы подков, следы сапог,
копыт раздвоенных следы...
Все глуше путь...
За часом час
шагаем мы долиной длинной,
в колючих зарослях малины...
Жара и жажда мучат нас.
Скорее бы в тени прилечь,
рюкзак тяжелый сбросив с плеч!

Беспечный путь на перевал,
студентов шумное веселье...
Как ты мне памятен, привал
у Гоначхирского ущелья!
Скалистый коридор глубок,
на диких кручах пихты виснут,
отвесными стенами стиснут,
на дне беснуется поток,
а наверху при блеске дня
костра чуть видимое пламя,
крик соек, беличья возня,
смех, возгласы...
Не помню я,
когда он вырос перед нами
в своей поношенной панаме
и сел у нашего огня.

Так повелось, что в сердце гор
бывают рады каждой встрече.
— Откуда, друг, идешь?
Далече ль? —
...И завязался разговор.

Широкоплечий, средних лет,
на лбу морщин глубокий след,
блеск проседи в короткой стрижке,
бровей колючие кусты...
Глаза пронзительно чисты,
живые, словно у мальчишки.

Он подружился с нами сразу,
хоть от смущения сперва
мрачнел, когда коверкал фразы
и, обрывая нить рассказа,
с трудом подыскивал слова.
Да, он в России эмигрант.
Бежал от гитлеровских банд.
Ему нельзя попасться в лапы
неумолимых палачей,
он чудом скрылся от гестапо
во мраке мюнхенских ночей...
Он ничего не станет в тайне
держат от нас — своих друзей.
Он по призванию ботаник
и по профессии своей.
Специалист альпийской флоры,
он превосходно знает горы,
признаться откровенно, он
в Кавказ, как юноша, влюблен!
Конечно, крест его тяжел —
в изгнание жить в такие годы.
Но он у русского народа
вторую родину нашел.
Какой народ! Он поражен,
глазам поверить трудно даже,
что есть страна, в которой каждый
такой заботой окружен.
Да вот на днях...
почти до слез
он был растроган... довелось
ему увидеть за оградой
кроваток белые ряды...
Вдыхая воздух Теберды,
в них малыши больные спали.
Он узнавал — ему сказали,
что это дети горняков,
учителей, ткачей, матросов...
Он вспомнил чопорность Давоса
среди швейцарских ледников,
баронов и биржевиков,
глядящих друг на друга косо...
Закон советский не таков, —
благословен закон страны,
где все свободны и равны!
Он простирает картинно руку,

взор устремляя в облака.
(Сказать по правде, нам слегка
излишний пафос резал ухо.)
Но все ему прощали мы:
он из гестаповской тюрьмы!
Неделю шел он с нами рядом —
всем угождавший человек
с немного напряженным взглядом
из-под нависших темных век.
Перед изгнанником-ученым
мы хвастались наперебой
удобным для подъема склоном
и вновь отысканной тропой.
Ему указывали, споря,
наикратчайший к морю путь
и предлагали возле моря
в палатке нашей отдохнуть...

Уже огни в воде дрожали,
Сухуми искрился вдали,
когда в пути нас задержали
береговые патрули.

Метнулись над седою стрижкой
вмиг полинявшие глаза.
Солдат сказал сквозь зубы:
— Крышка!
Попалась старая лиса!

Когда его под стражу взяли,
мы не могли в себя прийти.
Мы в сотый раз припоминали
все происшедшее в пути.
Друг друга горько попрекая,
мы выясняли в сотый раз,
кто усадил, кто налил чаю,
кто плакал, слушая рассказ...

Сидеть, глазеть, разинув рот!
Но ротозейству в извиненье
мы все сошлись в наивном мненье:
мол, горы — это не завод!

Он ворошил вихры ребенку,
он с нами в кошах пил айран ¹,
кричал он девушке вдогонку:
— Поймаю, козочка, джейран! —
Он был услужливейшим другом,
неутомимым ходоком,
он, проходя альпийским лугом,
бежал за редкостным цветком.
Кладя под лупу лепесточки,
он тут же отмечал на глаз
опознавательные точки
высокогорных новых трасс.
Плато в кольце крутых отвесов
под сочным травяным ковром
определял он кратко:
«Место
пригодно под аэродром».
Он даже недоступный купол,
небес светящийся эфир,
глазами тщательно ощупал
и на квадраты разграфил.
И пусть неистребимой тенью
на нашей жизни ляжет та,
граничащая с преступленьем,
доверчивая простота,
с которой мы тогда встречали
на нашем празднике его,
с которой мы ему вручали
ключи от дома своего!

II

Четыре лета, пыльных, знойных,
четыре долгие зимы
идет война.
Что значат войны,
теперь отлично знаем мы.
Война... не счесть ее обличий,
и для меня была она
тяжелой тишиной больничной,
ночами длинными без сна...
Морозный запах хлороформа,

¹ Кислое молоко.

постукивание костылей,
жизнь по военным жестким нормам
во всей обычности своей.

Кушетка с черной продранной клеенкой,
история болезни, телефон...

Часа в четыре ночи трелью звонкой
нетерпеливо разразился он.

Снимаю трубку.

Голос в отдаленье,

коротким треском приглушенный звук:

— Дежурную второго отделения!

— Я слушаю, товарищ политрук.

— Освободите пятую палату,
распорядитесь подогреть воды.

Поедете на Курский,

там ребята,

больные малыши из Теберды.

Не хвойный шум, не ветры перевала,
не грозный блеск зеленой толщи льда —
столбцы газет теперь я вспоминала
при этом мирном слове «Теберда».

Мне чудилось, как, увязая в глине,
фашисты топчут склоны наших гор...

Той прежней тропки нету и в помине.

Тропа войны — дорога на Клухор.

На карте стратегическая точка...

И вот однажды вестницей беды
среди коротких сообщений строчка:

«Десант врага в районе Теберды».

Мне вспомнилось

плато в кольце отвесов,

в сплошных цветах высокогорный луг...

«Враги успели скрыться в чащу леса».

А лес стоит на сотню верст вокруг!

В палате синий слабенький ночник.

Уже, наверно, далеко за полночь.

Никто из них не звал меня на помощь,
но я не в силах отойти от них.

Как неподвижны голубые лица,
измождены, по-старчески худы!..

Как хорошо им, как спокойно спится

усталым малышам из Теберды!
Они живут здесь в ласке и заботе,
но нужен им другой, домашний быт...
На крайней койке девочка не спит:
«Не уходите, посидите, тетя!»

Ребенок в гипсовой кровати,
чуть шевеля запавшим ртом,
мне говорит спокойно, кратко,
но обстоятельно о том,
как их, детей, согласно списку,
в последний отправляли рейс
те, из дивизии альпийской
с названием странным «Эдельвейс»...

Я видела:

на плоскогорье,
лицом на речку Теберду,
знакомый детский санаторий —
пять белых домиков в саду.

Все те же острые вершины
и снега вечная черта...

Гудит закрытая машина,
протискиваясь в ворота...

Она уйдет со страшным грузом,
она придет за ним опять...

— Что? Дети?..

— Ни к чему, обуза!..

— Больны к тому же?..

— Истреблять!

Да, истреблять.

Подлее слова

не выдумать, когда оно
к ребенку, теплomu, живому,
так, походя, по-деловому,
убийцами отнесено.

Вблизи моста, где стынет мгла,
где даже в зной темно и сыро,
швырнули детские тела
на дно ущелья Гоначхира.
От острых глыб, от голых скал
до желтых вод Кубани мутной
их мчал неудержимо вал,
прочь унести спеша как будто.

И дальше их несла вода,
туда, где степи к морю жались,
в долины дымные, туда,
где насмерть их отцы сражались...

Машина ушла, но вернуться должна
за теми, кого не вместила она.

А в темной палате шел ночью совет:
— Дойдут ли?
— Попробуем, выхода нет.
— Погибнут они, не осияют пути!
— А здесь?
— Что бы ни было, надо идти.
— Теплее одеть, захватить адреса...—
На сборы осталось им четверть часа.

Шелестела ледяная каша,
дождь, хлеща, долины заливал.
Старый врач и санитарка Паша
повели детей на перевал
по опасным осыпям и пенным,
шумным речкам, через Чертов мост,
по горбатым медленным моренам —
черным глыбам в человеческий рост...
В летний день на той крутой дороге
лишь в бреду предстать могло бы нам:
детские израненные ноги
здесь скользят по мокрым валунам.
Холод, ветер...
По ущельям гулким
рев осенних, вздутых ливнем рек...
То и дело жалкие фигурки
падают, проваливаясь в снег.
Мишеньки, Аленушки, Наташи,
сросшиеся с сердцем имени...
Дети наши, маленькие наши,
вот что с ними сделала война!
Как прихода их когда-то ждали,
кукольные тапочки вязали,
покупали мягкую фланель...
Зáдолго подыскивали имя
и не спали по ночам над ними,

на родную глядя колыбель!
От простуды берегли и кори
или — страшно вымолвить! — огня.

.

В ледяной шуршащей мокрой каше
по пояс шагают дети наши...
Матери, вы слышите меня?
Впереди, светясь сияньем млечным,
грозыным валом наплывают льды...
В плотный снег впечатаны навечно
детские неверные следы.
У меня они перед глазами...
Тяжело на сердце у меня:
человек в потрепанной панаме
отдыхал у нашего огня.
Дружбе нашей был сердечно рад он,
собирал цветы и между дел
первоклассным фотоаппаратом
этот страшный путь запечатлел.
Пусть он пойман был еще в ту пору,
пусть расстрелян...
Суть совсем не в нем.
Если я хоть раз впустила вора,
значит, плохо берегла свой дом.
Сколько их, непойманных, бродило
днем и ночью по моей стране...
Как же мне на ум не приходило,
что, возможно, встретятся и мне?
Отчего жила я без заботы,
зла не видя, счастья не храня,
отчего я думала, что кто-то
должен делать это за меня?

...Русый ежик, мягкий и упрямый,
век бескровных бледные края...
— Как тебя укладывала мама?
Расскажи мне... доченька моя...
Ты ведь помнишь маму?
На вокзале
поезд ждал отправки, пар клубя...
Грустными, блестящими глазами
мама посмотрела на тебя.
Ей казалось — все неоправимо:
восемь лет, туберкулез бедра...

«Ничего, — сказали доктора. —
Теберда, а может, берег Крыма...
Не волнуйтесь: это все пройдет!»
Начинался сорок первый год.
Все пройдет!
Пусть тебе приснится
разное забавное зверье,
пусть к постельке прилетит жар-птица —
детство улетевшее твое.
И, хотя бы нам пришлось за тыщи
верст идти и днем искать с огнем,
ты не бойся — мы его отыщем
и опять тебе его вернем!

III

Когда-нибудь возьму я дочь —
она совсем большая стала, —
и нас в пути застигнет ночь
невдалеке от перевала.
Два настороженных коня
пойдут бок о бок, близко-близко,
слегка подковами звеня,
из камня высекая искры...
Вверху звезда зажжет свечу,
дрожа, дохнет ночная свежесть,
и ель мохнатая, разнежась,
меня погладит по плечу.
Я наклонюсь и отыщу
родную маленькую руку,
прислушаюсь к глухому стуку
камней на недоступном дне
ущелья...
И предстанет мне:
вблизи моста, где стынет мгла,
где даже в зной темно и сыро,
швырнули детские тела
на дно ущелья Гоначхира...

Былого сгладятся черты,
и горе станет меньше ранить...
Как мало берегаешь ты,
короткая людская память!
Людское сердце, не остынь,

не позабудь свой день вчерашний:
ведь эти села, эти пашни —
на месте выжженных пустынь!
Хлебами прах людской пророс,
цветами кровь людская стала,
на эту землю море слез
дождями теплыми упало.
Людское сердце, не дремли!
Своей взыскательностью строгой,
своей недремлющей тревогой
храни покой родной земли.
Какие вновь там зреют планы?
Какой готовится набег?
Для дел каких за океаном
стомиллионный выдан чек?
И вот в стране моей богатой
под кровом мирной тишины
наемный бродит соглядатай,
лазутчик лагеря войны...
Он заговаривает с нами,
в улыбке лживой скаля рот,
как тот, в потрепанной панаме,
в далекий, предвоенный год...

Он по дорогам нашим рыщет,
он ищет спутников в пути,
бездумных, легковверных ищет,
но он не должен их найти!
За недоверье и пристрастье
пусть не осудят нас друзья:
ведь мы стоим на страже счастья,
нам глаз на миг сомкнуть нельзя.

Над узкой трещиной ущелья,
во мгле, лохматы и черны,
свисают траурные ели,
как память черная войны.
И слышен в сумраке беззвездном
мне неумолчный голос их:
— О тех, о мертвых, плакать поздно,
мир берегите для живых!

Наутро небо прояснится,
сползет туман с зубчатых круч,
и рассветет, и сквозь ресницы

в глаза ударит первый луч...
Девчонка, худенький подросток,
по льдам ступая в первый раз,
ты скажешь радостно и просто:
«Так, значит, вот какой Кавказ!»

Полет орлов и рек рождение
там, наверху, увидишь ты.
Прекрасно счастье восхождения,
преодоление высоты!
Но в утро счастья, в утро мира,
мне память затуманит взор:
через ущелье Гоначхира
лежит дорога на Клухор.
Я не хочу твоей печали,
но что же делать: я права;
все расскажу я, не смягчая
рассказа трудные слова.
Блеснут ребяческие слезы
в глазах внимательных твоих...
Не плачь!
Не надо!
Плакать поздно.
Бороться надо за живых!

1952

Ирина Цыганки

Далёко, далёко начало.
Начинала... Потом молчала...
Сколько раз принималась снова,
и давала зарок сурово,
и опять его нарушала...
Что-то мне досказать мешало.
Безутешно и неумело
я твой облик сберечь хотела,
по крупицам я собирала
все, что помнила, все, что знала...
Ты тускнела и ускользала.
Годы шли своей чередой,
то с удачами, то с бедой,
и уже я не собиралась
сохранять тебя от забвенья —
ты сама в мою жизнь вторгалась
как надежда и осуждение.
Лишь теперь мне понятно стало,
что всему наступают сроки,
что несвязные эти строки
много разных людей писало.

I

Ночь. Январь. Сорок пятый.
Умирает родной человек.
Глаз невнятные пятна,
тяжелая выпуклость век...

Кем-то брошен на лампу
неглаженный белый платок...
Пять нетронутых ампул,
со шприцем блестящий лоток...
Я держу твою руку,
щекой прижимаюсь к руке.
Как неясно, как хрупко
твой голос звучит вдалеке.
Значит, дальше нельзя.
Значит, здесь расставаться.
Сейчас.
Точно мрак разлился,
точно отсвет последний погас...
Ты все дальше, все дальше,
все глубже, чернее вода...
Да откликнись же, дай же
только знак!
Тишина.
Навсегда.

Что я помню? Что я знаю?
Все с собой ты унесла.
Желтый снимок...
Вспоминаю:
в этом доме ты росла.
Вспоминаю, вижу, слышу:
утро, солнце, шум берез...
Между солнечных полос
девочка с босыми ножками,
в синем платице горошками,
с мягким ежиком волос.
А на шейке привезенный
кем-то с ярмарки борок.
Сзади домик трехоконный,
белый строганный порог.
Как заманчив, гладок, ярок
тот копеечный подарок —
в три ряда на шейке нить.
Все бы трогать да крутить.
Полился из рук борок,
брызжут бусинки у ног.
Вот и все. Как это мало!
Девочка в селе росла,
а потом ее не стало
в ночь такого-то числа.

И в январском свете мутном
седина потухших кос...
Между тем и этим утром
полстолетия улеглось.
Встречи, радости, тревоги,
непокойные года,
песни, люди, города...
Смотришь — и конец дороге.
И никто о ней не вспомнит,
и спросить не довелось...

.
А в одной из дальних комнат
девочка топчет ножками,
в синем платице горошками,
с мягким ежиком волос.

А люди стучатся и ходят по лестнице,
и все это будто не наяву.
Мы с маленькой внучкой твоею ровесницы —
я маму сегодня, как в детстве, зову,
а мама покоится в желтом гробу,
и нет ни морщинки на солнечном лбу.
Светаёт. Потом начинается смеркаться.
Потом темнота наступает опять...
В несчастье страшнее всего — просыпаться,
и я через силу стараюсь не спать.
Мне кто-то приносит горячего чаю,
со мной говорят,
и я отвечаю,
но гул пустоты подступает к ушам...

.
Далёко степное село Черемшан.
В реке Черемшан — ледяная вода...
Я там не была. Никогда.
Никогда.

II

Горит огонь. Его давно не надо,
и занавеска на окне бела.
Шуршат платаны.
Первая цикада
железную трещотку завела.
Явись ко мне такой, как память помнит:

светловолосой, тонкой, молодой...
(А на Ваганьковском высокий холмик
давно зарос мучнистой лебедой.)
Я закрываю мокрые ресницы,
чтобы не видеть этой пустоты.
Качнется рама, скрипнет половица,
вспорхнет листок — и это будешь ты.
Ты скажешь мне с обыденным укором:
— Совсем светло, а ты еще не спишь! —
Тебе в ответ цикады грянут хором,
прострачивая утреннюю тишь,
и облака взлетят над морем выше,
неся на спинах теплую зарю,
и ничего, что я тебя не слышу,
что я сама все это говорю.
Мне подтвержденья твоего не надо,
мне не нужны звучащие слова.
Я — оправдание твое, отрада,
я все, чем ты теперь еще жива.
Я все, что в мире от тебя осталось,
пускай у нас несхожие черты,
я жить должна во что бы то ни стало,
чтобы во мне существовала ты.
Мне б на тебя глядеть не наглядеться,
а я спешила, время торопя,
я без оглядки предавала детство,
воспоминанья, прошлое, тебя...
Пока я там захлебывалась ветром,
ты одиноко собиралась в путь.
Зима. Глухие вечера без света.
Седая замороженная муть.
Одним часам не лень шуршать и тикать,
за окнами горланит воронье,
а в комнате так нестерпимо тихо,
как будто смерть уже вошла в нее.
И ты одна, не шевелясь, не плача,
глядишь упорно в черноту угла.
Прости меня — я не могла иначе.
Я и теперь бы тоже не смогла!
У каждого бывает в жизни час
всего святее и всего дороже.
Придет пора, и наши дети тоже
на что-нибудь да променяют нас.
Что это будет? Лунный перелет?
Любимый? Или рукописей груды?

Не знаю что. И узнавать не буду.
Что б ни было — прощаю наперед.

Ты здесь жила. Ты торопилась к морю
тропинкой этой, ломкой и крутой,
и молочай шумел на косогоре,
и пыль взлетала тучкой золотой.
Тогда вот так же бронзовели лозы
за низкорослой кладкою камней...
Нет, глаз моих не застилают слезы,
сквозь слезы мне тебя еще видней.
Синели так же аспидные кручи,
у ног взрывалась пенная дуга.
По этой гальке — смуглой и текучей —
ступала легкая твоя нога.
Ты здесь сидела на каком-то камне.
Как догадаться — этот или тот?
Как воскресить мне этот год недавний,
последний твой неомраченный год?
...Июньский шторм.
Наутро небо мглисто.
Скребет о камни острая волна.
И вдруг ты видишь мальчика-радиста:
«Война! — кричит он. — Слышите, война!»

Война прошла. И вспоминать не надо.
Я вижу море, море наяву!
Шипящая соленая прохлада
и грузный гул... И я дышу. Живу!
Мне волны туго обнимают тело,
на гребнях пена яростно бела,
и ровный зной... Ты так его хотела!
И я вот здесь. А ты не дожила.
На ветхой карте, в темном коридоре,
где уживались сквозняки и дым,
овалом милым голубело море.
Ты подходила и читала: «Крым».
И море шло грядой зеленой мимо,
и кровь кропила хрупкий известняк,
и было два несовместимых Крыма,
и для тебя навек осталось так.
Нет, нет, ты знала. Дожидалась: скоро!
Гремел салют — просила: подними!
Из-за тяжелой пропыленной шторы,
крутясь, влетали в комнату огни...

И крест окна, и трепыханье веток,
и гаснувшей ракеты полоса —
все это наполняло напоследок
сияющие мокрые глаза.
И я касалась щек твоих, лаская,
еще донине губы солонны...
Но то не слезы — только пыль морская,
летучее дыхание волны.
Война прошла.
В земле спокойно спишь ты.
А в этом небе цвета бирюзы
Опять беззвучно полыхают вспышки
то тут, то там блуждающей грозы.
И снова где-то дымный ветер дует
над пустырем расстрелянных полей,
и снова где-то женщины целуют
в последний раз мужей и сыновей.
Да, вот он — мир.
И сколько он продлится?
Да, вот он — век.
И жить нам в веке том.
Всю нашу жизнь
«покой нам только снится...»,
и снится очень изредка притом.

III

Бумага, пожелтевшая на сгибах,
исписанная тесно с двух сторон...
Я обнаружила случайно, в книгах,
письмо твое, вернувшись с похорон.
Томимая смертельною печалью,
его украдкой написала ты.
Щадя друг друга, мы с тобой молчали
до крайней, разделившей нас черты.
Был приговор произнесен врачами,
но ты всю правду знала без врачей.
Мы в одиночку плакали ночами...
Как жаль мне тех потерянных ночей!
Улыбок непосильная усталость,
бодрящих слов невыносимый гнет,
и столько недосказанным осталось,
и этого никто мне не вернет.
...Твое письмо. Твои родные строки.

Последний материнский твой наказ:
«Законы жизни мудры и жестоки.
Живи. Трудись. Не порть слезами глаз.
Моя любовь с тобой всегда. Навеки.
Ты жизнь люби. Она ведь хороша.
Людей люби. И помни — в человеке
что главное? Высокая душа».
Благоговейно, благодарно, нежно
ты вспоминала об отце моем,
о доброте, о страстности мятежной
души высокой, обитавшей в нем.
Ты вновь и вновь его благословляла
за счастье целой жизни прожитой.
И на мгновение мне завидно стало —
не заслужить мне памяти такой.
Еще писала: «Берегите дочку.
Пусть вырастает радостью семьи...»
И тут же, сбоку, поперек листочка:
«Живите дружно, милые мои!»

Живите дружно, милые мои...

Мы жили плохо.
Кто тому виною,
я не могу пока найти ответ.
Не понимаю. Думаю, что двое.
А может быть,
виновных вовсе нет.
Мы жили в нескончаемой разлуке,
полсуток с лишним
рядом проводя.
И никогда не замечали скуки,
совсем как поздней осенью дождя.
Я шла и шла протóренной дорогой.
Она меня далеко завела.
Живи как хочешь, лишь меня не трогай —
вот что я дружбой истинной звала.
И надо было очень много света,
моря животворящего тепла,
чтоб мне открылось заблуждение это,
чтоб я несчастье наше поняла.
Пока любовь — любой раздор не страшен
и ссоры не опасней облаков.
Я поняла, что нету в доме нашем
защитницы семейных очагов.

Что дом открыт всем бурям и невзгодам,
печален в запустении своем,
что, проживая в доме год за годом,
мы, в сущности, давно в нем не живем.
Что счастье уходило постепенно
и постоянно...

А о той поре
ребенок рос в холодных тихих стенах,
как маленький цветок на пустыре.
Она уже немало понимала,
уже могла жалеть и осуждать,
она в душе уже носила жало
неверия в земную благодать.
Уже любовь ей выдумкой казалась,
ей, ничего не смыслившей в любви.
А я таких вопросов не касалась,
мол, как живет, так и ты живи.
Да и к тому же, рассуждая здраво,
я говорить с ней не имела права.
Что толку в назидательных беседах,
где в каждом слове проступает ложь,
как объяснишь ей — надо жить вот эдак,
когда сама совсем не так живешь.
Да, дом был пуст.
Тот дом, где ты, бывало,
сияя каждой черточкой лица,
как девочка, в прихожую бежала
и обнимала моего отца.
А он входил усталый, но довольный,
всегда такой сердечный и простой...
Ты знаешь, мама, как мне было больно,
что дом стоял теперь такой пустой!
Любовь его покинула.

Но я ведь
сроднилась с детства с ней, и оттого
мечты о счастье не могла оставить,
искала счастья и нашла его.
Мне говорили, улыбаясь тонко,
подруги, объявившиеся вдруг:
«Вам следует подумать о ребенке,
ведь вы уже не девочка, мой друг!
Не забывайте — вы за все в ответе:
дом — это дом, и дети — это дети.
А утешенье трудно ли найти,
ведь вас никто не держит взаперти!»

Они делились щедро, простодушно
со мною жалкой мудростью своей,
и от нее мне становилось душно,
хотелось окна распахнуть скорей...
Советчицы с прическами седыми
ко мне стучались в комнату не раз:
«Мы, детка, тоже были молодыми,
и мы отлично понимаем вас.
Не наше дело ваших чувств касаться,
они, должно быть, очень хороши,
но ради долга надо отказаться
от непомерных прихотей души...»
По-всякому со мною говорили,
и только ты, моя родная мать,
давным-давно уснувшая в могиле,
сказала коротко:
«Не надо лгать».
Мне было трудно.
Страшно было мне...
Душа моя томила, как в тюрьме,
тоска и нежность разрывали душу,
и все мне представлялось не к добру,
что если я тюрьму свою разрушу,
я под ее обломками умру.
Меня все время мучило сознание,
уверенность, сводящая с ума,
что если я сожгу воспоминанья,
то вместе с ними я сгорю сама.
Еще не понимая, что со мною,
я становилась с каждым днем иною,
мне сделалась невыносима ложь
(а я ее не ставила ни в грош),
я с болью начинала понимать,
какая я была плохая мать.
И я уже не мыслила, не смела
другой души неверием губить,
и я родиться заново сумела...
Как мне тебя за жизнь благодарить?

IV

А девочка без малого невеста.
Еще нескладна, но уже стройна.
Не из красавиц, но уже прелестна.
Умна? Не знаю. Кажется, умна.

Без памяти любимая, не скрою,
она всегда для матери мила.
Строптивая... Я не была такою.
Холодная... Я ласковей была.
Холодная? Но ты порою тоже
казалась мне холодной, как она.
Холодная? А может, вы похожи?
Земля на ощупь тоже холодна.
А может, чужды ей мои волнения
и нету дела до моих забот?
А вдруг сухая трезвость поколенья
к ней в сердце поселилась
и живет?
И я припоминаю то и дело,
как жили вы,
чем жили вы с отцом,
что вырастили дочь хоть неумелым,
хоть маленьким,
но все-таки борцом.
...Все началось преддверьем созиданья.
Разруха, голод, холод, темнота...
Об этом первое воспоминанье,
о корке хлеба — первая мечта.
На улице куда теплей, чем дома...
Чадят в буржуйке мокрые дрова,
разрежут хлеб, а на ноже — солома,
в пустой похлебке плавают ботва.
Год двадцать первый.
На Поволжье голод.
Тиф. Все вокруг обриты наголо.
Притихший, скудно освещенный город
до самых крыш снегами замело.

Вижу первый свой
новогодний вечер
смутно, будто во сне.
На елке горят восковые свечи,
и это нравится мне.
На мне пальтишко куцее, валенки...
Елка стоит посреди стола.
Она и тогда мне казалась
маленькой,
значит, какой же она была!
И уж не помню сейчас хорошенько —
висит среди колючих ветвей

карамелька
вроде «Раковой шейки» —
первая сладость жизни моей.

.

Шли годы. И строились новые зданья.
И белые булки вошли в бытие.
И песни рождались.
И было сознание,
что это не чье-то,
что это — мое.

Мы жили на папиной скромной зарплате,
что нашего счастья отнюдь не губило.
Я помню все мамины новые платья,
и я понимаю, как мало их было.
Я помню в рассохшемся старом буфете
набор разношерстных тарелок и чашек,
мне дороги вещи почтенные эти
и жизнь, не терпящая барских замашек.
Горжусь я, что нас не пугали заботы,
что жить не старались покою в угоду,
что видный профессор шагал на работу
за три километра в любую погоду.
Я не из сословья ханжей и аскетов,
не против удобства, не против обилья,
богатых сервизов, красивых буфетов...
Я против ослабших в бездействии крыльев!
Быть может, с годами я стала брюзгой,
но все-таки думаю снова и снова,
что счастьем считали мы что-то другое
и в жизни хотели чего-то другого.
Не скрою — порой наблюдаю с тревогой
за школьницей милой, беспечной, как птица.
Веселья, подарков и радостей много,
а счастьем могла бы я с ней поделиться.
Тем счастьем, которому цену не знает,
которое чем-то далеким считает,
немного забавным, чуть-чуть старомодным,
по юным годам сожаленьем бесплодным...
И мне, не скрываю, бывает тревожно:
да все ли ей ясно, что верно, что ложно?
Всегда ли в нас помощь она находила?
Всегда ли мы с ней говорили правдиво?
Быть может, с собою лукавили где-то,
и с жизнью порой не сходились ответы?
Что ждет ее дальше? Как будет ей житься?

Во всем ли смогу на нее положиться?
А век-то двадцатый... А время сурово...
И требует мужества снова и снова.
Они еще, может, не знают,
но мы-то,
но мы-то без малого жизнь прошагали,
и то, что в тридцатых мерещилось далью,
сегодня туманом уже не покрыто.
И новых подъемов синеют отроги,
и новые выси за далью маячат,
и мы понимаем, что все это значит...
Не нами кончаются наши дороги!

А все-таки я в девочке порою
твои черты нет-нет да узнаю:
то мягкое упорство в ней открою,
то прямоту наивную твою.
Уже в ней мысль птенцом растущим бьется,
уже я знаю, что в тяжелый час
вся суть ее горячая пробьется
сквозь холодность, смущающую нас.
А что она на всех нас не похожа...
Ну что ж, не все ль равно, в конце концов?
Ведь дети всех времен растут, тревожа
своею непохожестью отцов.
Нам ясны мысли наши и стремленья
испытаны, проверены не раз,
но нас сбивает с толку представленье,
что наши дети — это слепки с нас.
Родителей извечная ошибка:
себя мы ставим во главу угла,
хоть каждая газетная подшивка
нас в этом разуверить бы смогла.
Горжусь военной юностью своею,
я так жила, как надлежало мне.
Им — детям — проще будет и труднее.
Жизнь даст им все.
И требует вдвойне.
Все ширятся пространства и границы,
нас жизнь ошеломляет что ни год,
но не всегда на землю возвратится
отправившийся в лунный перелет.
Вторгающимся в тайны мироздания,
ломающим законы всех наук
платить придется неизбежной данью

за дерзость мысли и умение рук.
Наверно, в этом мужество солдата —
как можно меньше думать о себе.
Мы тоже были первыми когда-то
и тоже пали многие в борьбе.

V

«...Покой нам только снится...»
Знаешь, мама,
мне нынче часто по ночам не спится.
Ведь существуют вещи, о которых
ты не имеешь даже представленья
и нам которых лучше бы не знать.
Я под крыло не прячусь.
Нет, напротив,
мне хочется увидеть их воочью,
предметы эти...
Цвет их знать и форму.
Ведь как ни тягостно об этом думать,
они реально в мире существуют —
чудовищные тихие создания.
До времени лежат они на складах,
за тысячью замков, всегда готовы
по первому желанию убийцы
начать свое немыслимое дело.
Средь звезд ночных
они плывут во мраке
на двух трагически непрочных крыльях,
по первому желанию убийцы,
и даже против этого желанья,
готовые обрушиться на мир.
Чудовищные тихие предметы...
По-разному их люди называют.
Конечно, как-то проще слово «бомба»,
реалистичней и привычней слуху,
но подлинное им название —
смерть.

...Современно практична ее оболочка.
Нет, себя не узнала бы в этой, стальной,
та, из книжек старинных, кустарь-одиночка,
в маскарадном наряде, с косой за спиной.
Та входила в дома деловито, степенно

и обычно, к больному присев на кровать,
дождалась, чтоб к ней он привык постепенно,
чтоб родным было время погоревать.
Были также у старой большие владенья,
не лишенные прелести и красоты,
где она позволяла живым в утешенье
красить краской решетки и холить цветы.
Та была удручающе сентиментальна
и слезлива к тому ж...

То ли дело сейчас:

безо всяких прелюдий, легко, моментально,
не один и не сто — сотни тысяч за раз.
И не надо тревожиться — дети сироты!
И не надо жалеть — сад расцвел без меня!
Ни поминок, ни похорон — к черту заботы!
Вместо всей бутафории — море огня.
А когда, наконец, это пламя уймется,
земли станут пустынно, бесплодны, черны,
лишь в болотцах родятся лягушки-уродцы,
на погибель заранее обречены.

.
Может, страус-то прав? Слишком страшно все это?
Может, нам и трудиться совсем ни к чему?
Что за смысл оборудовать нашу планету,
если все это сгинет в огне и дыму?
Может, руки сложить? Положиться на случай?
Мол, авось пронесет и не грянет беда...
Да когда бы так думать — не жить бы мне лучше
и не зваться бы матерью никогда.

.
Жадно слушаю мирную музыку ночи,
ей вверяю тревожную душу мою:
Мокрый тополь качается... Поезд грохочет...
Сонно плачет ребенок...
«Баю-баю-баю»...

Голос явственно слышен в молчанье квартиры,
и такой он извечный, что чудится мне,
будто древнюю песню все матери мира
на несчетных наречьях поют в тишине.
В восемнадцатом, мама, ты так же вот пела,
укрывая в подвале меня от обстрела,
и смотрела тревожно большими глазами
на зловещее зарево над Казанью.
Монотонные звуки томительно плыли,
интервентов орудья по городу били...

...А потом я такую же песню, бывало,
и своей годовалой Наташе певала,
до рассвета качая в угрюмом подвале.
(В сорок первом их «бомбоубежища» звали.)
Мама, слышишь, так как же? Ведь ты же, бывало,
мне на все отвечала, во всем помогала?
Неужели же слов у тебя не найдется?
Ведь нельзя же мириться, ведь нужно бороться!
И в ответ в моей памяти тускло и зыбко
возникает твоя дорогая улыбка,
и усталые плечи, и руки худые,
и глаза твои ясные и молодые...
Вижу взгляд твой, ко мне издалёка летящий,
в красноватом огне керосинки коптящей...
Вот он, вот он, согрет материнской заботой,
говорит: «Ты же знаешь — живи и работай,
не страшись и не складывай руки устало,
разве жизнь тебя мало еще испытала?»

По ночам я слышу, как ливни
проносятся с топотом конниц...
Очень много нужно припомнить,
проверить, понять, решить...
Нет, и к врачу не пойду я
по поводу этих бессонниц,
голос сердца не буду
аптекарским зельем глушить.
Если ты человек —
ты делами земли озабочен,
и живется тебе
неспокойно и трудно тогда.
Без труда вырастают
одни лопухи у обочин,
да и то это нам представляется,
что без труда.
Хорошо, что я знаю
высокое счастье людское,
Хорошо, что умею,
что называется, «жить».
И наверное, это
несовместимо с покоем —
мы живем по лимиту,
приходится очень спешить!

Ну вот, я и этим с тобой поделилась,
и в этой тревоге ты мне помогла,
из полузабытого детства явилась,
по целой эпохе меня провела.
Уходят года быстротечной водою,
а память хранит дорогое на дне.
Могила твоя заросла лебедю,
твой голос, как совесть, как правда, во мне.
А ты еще, помню, твердила все время
в большой, безутешной печали своей,
что нет ничего тяжелее, чем бремя
бесплодно прожитых и конченных дней.
А я возражала, но думала вчуже:
«Конечно, обидно, конечно, не сласть!
В заботах жила о ребенке и муже,
в анкетах домашней хозяйкой звалась».
Девчонка! Что я понимала? Что знала?
Еще я до сколького не доросла.
Конечно, конечно, — ты сделала мало:
высокое сердце сквозь жизнь пронесла.
Конечно... конечно, ты сделала мало,
лишь все согревала сияньем любви,
жалела, учила, хранила, спасала...
На то и ушли они, годы твои.
Твой чистый огонь никогда не погаснет,
его миллионам сердец отдаю.
Спасибо за правду.
Спасибо за счастье.
Спасибо за светлую душу твою!

1965

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------------|---|
| <i>А. Турков. Ее звезда</i> | 3 |
|---------------------------------------|---|

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЕРВАЯ КНИГА. 1945

Короткие рассказы

| | |
|---|----|
| Хирург | 15 |
| Мать | 17 |
| Музыка | 18 |
| Кукла | 20 |
| «Я знаю — я клялась тогда...» | 21 |
| «Мы ждали ее в понедельник, и в среду...» | 22 |
| Такая же, как она | 23 |
| Салют | 25 |
| Встреча | 26 |
| Фиалки | 28 |
| Письмо | 30 |
| Птица | 32 |
| Городок | 33 |

| | |
|-----------------------|----|
| Беженец | 34 |
| Возвращение | 35 |
| В лесу | 37 |

О с е н ь 1941 г о д а

| | |
|--|----|
| Ночная тревога | 38 |
| В Кудинове | 40 |
| Разговор с Москвой | 41 |
| Утро | 42 |
| Дорога | 44 |
| Письмо | 45 |
| Октябрь 1941 года | 46 |
| Ночь (<i>Зима 1942 г.</i>) | 48 |
| Яблоки | 50 |
| «Ты ложишься непривычно рано...» | 52 |
| Домой | 53 |
| «Вот и город. Первая застава...» | 54 |

С т и х и о д о ч е р и

| | |
|---|----|
| «Душная, безлунная...» | 55 |
| «Мне с каждым днем милее ты...» | 56 |
| «Ты счета не ведешь годам...» | 56 |
| «Вагон бросало и качало...» | 57 |
| «Тревога. Грусть. Приходит почтальон...» | 57 |
| «Суровый год. В траве чернеют щели...» | 58 |
| «А круг все ширится. В него вовлечены...» | 58 |

Л и р и к а

| | |
|--|----|
| «Помню празднество ветра и солнца...» | 60 |
| «У каждого есть в жизни хоть одно...» | 61 |
| «Нельзя о слове, как о мотыльке...» | 62 |
| «Когда-то я любимого ждала...» | 62 |
| «Нет, и это на правду совсем не похоже...» | 62 |
| «Словно засыпающий ребенок...» | 63 |
| Разлука | 64 |
| «В руке сжимая влажные монеты...» | 64 |
| «Утром на пути в аэропорт...» | 64 |
| «Спокойный вечер пасмурен и мглист...» | 65 |
| «Настойчивой стайки воспоминаний...» | 66 |

| | |
|--|----|
| «Ты мне чужой — не друг и не любимый...» | 67 |
| «Резкие гудки автомобиля...» | 68 |
| Ночь | 69 |
| «Да, ты мой сон. Ты выдумка моя...» | 70 |
| «И знаю все, и ничего не знаю...» | 71 |
| Ожидание | 72 |
| Другу | 73 |
| Чиж | 74 |
| Осень | 75 |
| Костер | 76 |
| Тропинка | 77 |
| «Песня моя, куда ты ушла...» | 78 |
| «Еще шуршат, звенят и шепчут капли...» | 79 |

ПУТИ - ДОРОГИ. 1954

Н а ш и д р у з ь я

| | |
|--|----|
| «Насыпает камешки в ведерки...» | 80 |
| «Уходит день. В углах синее тени...» | 81 |
| «В оцепененье стоя у порога...» | 82 |
| Прибой | 83 |
| Мать | 84 |
| Капитаны | 86 |
| Жена прораба | 88 |
| Аннушка приехала домой | 90 |

П у т и - д о р о г и

| | |
|--|-----|
| Стихи о любви | 92 |
| Пути-дороги | 94 |
| Родина | 96 |
| На разъезде Чумыше | 98 |
| Разлука | 100 |
| Станция Баладжары | 102 |
| Сапер | 103 |
| Прощанье | 104 |
| Осень в Латвии | 105 |
| Из окна вагона | 106 |
| Мы праздник встречали в дороге | 107 |
| Норд | 109 |

| | |
|-----------------------|-----|
| Бессонница | 111 |
| Моряна | 112 |
| Путь к руде | 114 |
| Письма | 116 |
| Арык | 117 |

Стихи о счастье

| | |
|---|-----|
| Голуби | 118 |
| Тишина | 119 |
| «Мне сказали — ты в городе Энске живешь...» | 120 |
| Ожидание | 121 |
| «Биенье сердца моего...» | 122 |
| Ссора | 123 |
| Прощанье | 124 |
| Осень | 125 |
| «Не отрекаются, любя...» | 126 |
| «Мы шли пустынной улицей вдвоем...» | 127 |
| У источника | 128 |
| Зеркало | 129 |
| «Дремлет стужа, сок из веток выжав...» | 130 |
| Счастье | 131 |

ДОРОГА НА КЛУХОР. 1956

| | |
|--|-----|
| «Опоздали на дачный...» | 132 |
| Ночь | 134 |
| «А ведь могло бы статься так...» | 136 |

ПАМЯТЬ СЕРДЦА. 1958

| | |
|--|-----|
| «Пусть мне оправдываться нечем...» | 137 |
| Дом в лесу | 138 |
| Твоя улица | 139 |
| Непогода | 141 |
| Молния | 143 |
| Воспоминание | 144 |
| «Открываю томик одинокий...» | 145 |

| | |
|---|-----|
| «К земле разрыхленной припал он...» | 146 |
| «Молодость... Старость...» | 147 |
| Десятибалльный шторм на море | 149 |

С л о в а л ю б в и

Весна

| | |
|--|-----|
| «Туч взъерошенные перья...» | 151 |
| «Вот это и есть настоящее...» | 152 |
| «Вчера я в просеке лесной...» | 153 |
| «Еще недавно сосны гнуло...» | 154 |
| «В осиннике мгла затаилась седая...» | 155 |

З в е з д ы н а д м о р е м

| | |
|--|-----|
| «Бомбою фашистской искалечен...» | 157 |
| «До спящего моря четыре шага...» | 158 |
| «И чего мы тревожимся...» | 160 |
| «Слабеют выхлопы движка...» | 161 |
| «У мокрых камней выгибает волна...» | 162 |
| «Твои глаза... Опять... Опять...» | 163 |
| «Я живу в постоянном предчувствии чуда...» | 164 |
| «На рассветной поре...» | 166 |
| «Очертаниями туманными...» | 167 |
| «Я поднимаюсь по колючим склонам...» | 168 |
| «Я, сердце друга отомкнув...» | 169 |
| В лесу | 170 |
| Вчерашний дождь | 171 |
| «Прошло с тех пор...» | 172 |

Р а з г о в о р с ю н о с т ь ю

| | |
|---|-----|
| «Я тебя вспоминаю солидной и важной...» | 174 |
| Пришла ко мне девочка | 176 |
| «За окошком падает снежок...» | 178 |
| Первая гроза | 180 |
| Соседка | 182 |
| Твой враг | 183 |
| «Я жизнь никогда еще так не любила...» | 185 |
| О счастье | 187 |

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 1961

I

| | |
|---|-----|
| «Людские души — души разные...» | 188 |
| О непомерных прихотях души | 189 |
| Ночь в горах | 190 |
| Виолончель за стеной | 191 |
| «Воздух пьяный — нет спасенья...» | 193 |
| Июль | 195 |
| Ливень | 196 |
| Незабудки | 197 |
| «Тропа, петляя и пыля...» | 199 |
| Две тени | 201 |
| Возвращение | 203 |
| Старый дом | 205 |
| Чудеса | 206 |
| «Я помню, где-то...» | 208 |
| Весло | 209 |
| «Всплески мерные за бортами...» | 210 |
| Куйбышевская ГЭС | 211 |
| «Чтоб не катилась бесполезно...» | 212 |
| Судьба России | 213 |
| Прощанье | 215 |
| Стихи о гудке | 216 |

II

| | |
|---|-----|
| «Сколько милых ровесников...» | 218 |
| Стрелы | 220 |
| Саломее Нерис | 222 |
| Содружество | 224 |
| Литве | 225 |
| В старом Вильнюсе | 227 |
| Утро | 229 |
| Зима, зима... | 230 |
| В аэропорту | 231 |
| «Ты не любишь считать...» | 233 |
| «Многое я люблю...» | 234 |

| | |
|---|-----|
| «Все кончается на свете...» | 235 |
| Стихи о бумажном змее | 237 |
| Старая сказка | 238 |
| «Еще не в состоянии войпы...» | 240 |

III

| | |
|--|-----|
| «Жизнь твою читаю, перечитываю...» | 241 |
| «Шкатулка заперта...» | 242 |
| «Всегда так было...» | 243 |
| «Ни в каких не в стихах...» | 244 |
| «И вот опять со мною одиночество...» | 245 |
| «Зову, упрекаю, надеюсь и спорю...» | 247 |
| «Так было, так будет...» | 248 |
| «Счастливо и необъяснимо...» | 250 |
| «А знаешь, все еще будет!..» | 251 |
| Я желаю тебе добра! | 252 |
| «Жизнь обмелела...» | 253 |
| «Сколько дней не спалось, не елось...» | 254 |
| «Хмурую землю стужа сковала...» | 255 |
| Самолеты | 257 |
| «Нам двоим посвященная...» | 258 |
| Пробуждение | 259 |
| «Я пенять на судьбу не вправе...» | 260 |
| Какая бывает осень | 261 |
| Птицы, листья и снег | 263 |

IV

| | |
|---|-----|
| Земля | 264 |
| «Морозный лес...» | 266 |
| Вьюга | 267 |
| Ночь подмосковная | 269 |
| На рассвете | 270 |
| «Как счастье внезапное — оттепель эта...» | 271 |
| «И живешь-то ты близко...» | 272 |
| «Все в доме пасмурно и ветхо...» | 273 |
| «Ни особых событий, никакого веселья...» | 274 |
| «Что-то мне недужится...» | 275 |
| Шишка | 276 |
| «А знаешь ли ты?..» | 277 |

| | |
|---|-----|
| «Сияет небо снежными горами...» | 278 |
| Двое на мосту | 279 |
| «Это верно, конечно...» | 280 |
| «День был яркий, ветреный...» | 282 |

ЛИРИКА. 1963

| | |
|--|-----|
| «Память сердца!..» | 284 |
| Осень в Крыму | 286 |
| Тень | 288 |
| «Не сули мне золотые горы...» | 289 |
| «Шагаю хвойною опушкой...» | 290 |
| «Я прощаюсь с тобою...» | 291 |
| «Меня ты видел солнечной и ясной...» | 292 |
| «Мне говорят...» | 293 |
| «Пусть лучше ты непустишь меня...» | 295 |

СТО ЧАСОВ СЧАСТЬЯ. 1965

| | |
|--|-----|
| «Сто часов счастья...» | 296 |
| «Не знаю — права ли...» | 298 |
| Были женщины... | 299 |
| «Одна сижу на пригорке...» | 300 |
| Черемуха | 301 |
| «Почему говорится: «Его не стало...» | 302 |
| «Дождик сеет...» | 303 |
| «Небо желтой зарей окрашено...» | 304 |
| «Без обещаний...» | 305 |
| Синяя птица | 306 |
| «Осчастливь меня однажды...» | 307 |
| Вальдшнеп | 308 |
| «Бывают весны разными...» | 309 |
| «Это было где-то...» | 310 |
| Маяк | 311 |
| Лето | 312 |
| «Быть хорошим другом обещался...» | 313 |
| Дом мой — в сердце твоём | 314 |
| «Всех его сил проверка...» | 318 |
| Утро | 319 |
| Письмо | 320 |
| «Раскаленное, цвета платины...» | 321 |

| | |
|--|-----|
| Костер | 322 |
| Двое и яблоко | 323 |
| «Не о чем мне печалиться...» | 325 |
| «Глаза твои хмурятся...» | 326 |
| «Гонит ветер...» | 327 |
| «Не охладела, нет...» | 328 |
| «Ну что же, можешь покинуть...» | 329 |
| «Так уж сердце у меня устроено...» | 330 |
| «Все было до меня...» | 331 |
| «Я одна тебя любить умею...» | 332 |
| «Я рядом с тобой...» | 333 |
| Ты болен... | 334 |
| «Мне на долю отпущены...» | 335 |
| «Опять утрами...» | 336 |
| «Темный след на первом снегу...» | 337 |
| «Помнишь, как залетела в окно синица...» | 338 |
| «Где-то чавкает вязкая глина...» | 339 |
| «Еду я дорогой длинной...» | 340 |
| Наследство | 341 |
| Звуки дома | 342 |
| «Вот говорят: Россия...» | 343 |
| Полнолуние | 344 |
| Поют петухи... | 345 |
| «О, эти февральские вьюги...» | 346 |
| Мельница | 347 |
| Лиственница | 348 |
| «Ночью на станции...» | 349 |
| «С тобой я самая верная...» | 350 |
| «Ты все еще тревожишься...» | 351 |
| «Не боюсь, что ты меня оставишь...» | 352 |
| «Ты не горюй обо мне...» | 353 |
| «Вот уеду...» | 354 |
| Раскаяние | 355 |
| «Беззащитно сердце человека...» | 357 |
| «У всех бывают слабости минуты...» | 358 |
| «Горе несешь...» | 359 |
| «Тяжело мне опять и душно...» | 360 |
| «Наверно, это попросту усталость...» | 361 |
| «Ну, пожалуйста, пожалуйста...» | 362 |
| В самолете | 363 |
| «Мало в жизни я повидала...» | 364 |
| Звезда | 365 |
| Сновидение | 366 |
| «Как мне по сердцу...» | 367 |
| Кузнечик | 368 |

| | |
|---|-----|
| «Сколько же раз можно терять...» | 369 |
| Эхо | 370 |
| «Как часто лежу я без сна...» | 371 |
| Синицы | 372 |
| «Много счастья и много печалей на свете...» | 373 |
| «Сутки с тобою...» | 374 |

ЛИРИКА. 1969

| | |
|---|-----|
| «Искалечить жизнь меня хотела...» | 375 |
| «Я стучусь в твое сердце...» | 376 |
| Вечер. Снегопад | 377 |
| Молчание | 378 |
| Без тебя | 379 |
| «Где-то по гостиничным гостиным...» | 381 |
| «Щедры на ласку тополя и кедры...» | 383 |
| «Как часто от себя мы правду прячем...» | 384 |
| «А я-то тебе поверила...» | 385 |
| «Не опасаясь впасть в сентиментальность...» | 387 |
| «Кто-то в проруби тонет...» | 388 |
| «Дальние провода — лишние слезы...» | 389 |
| «В чем отказала я тебе...» | 390 |
| «А может быть, останусь жить...» | 391 |
| «Нам не случилось ссориться...» | 392 |
| «Человек живет совсем немного...» | 393 |

СТИХИ. 1969

| | |
|--|-----|
| «Сгорели рощи...» | 394 |
| «Чистый, лучистый...» | 395 |
| «Тебе знаком сумбур ночей...» | 396 |
| «Терпеливой буду, стойкой...» | 397 |
| «Нельзя за любовь — любое...» | 398 |
| «Летит, как подбитая птица...» | 399 |
| «Знаю я бессильное мученье...» | 400 |
| «За водой мерцает серебристо...» | 401 |
| «Никогда мы не были так далеки...» | 402 |
| «Хорошо живу, богато...» | 403 |
| Соловей | 404 |
| «В желтых липах...» | 405 |
| «Нынче детство мне явилось...» | 406 |

| | |
|---|-----|
| «На допотопных лапах...» | 407 |
| «Неяркий свет...» | 408 |
| «В альбомчике школьном снимки...» | 409 |
| Акация | 410 |
| Звезда | 412 |
| Полдень | 413 |
| «Над скалистой серой кручей...» | 414 |
| «Просторный лес листвою перемело...» | 415 |
| «И сам ты не знаешь...» | 416 |
| Сводка погоды | 417 |
| «Просыпаюсь я с той же улыбкою...» | 418 |
| «Ты помнишь...» | 419 |
| «Говоришь ты мне...» | 420 |
| «Я люблю тебя...» | 421 |
| «Я, наверно, слишком часто плачу...» | 422 |
| Размышления в день рождения | 423 |
| «Я глаза открываю...» | 425 |
| Метеорит | 426 |
| Серый день | 427 |
| Котенок | 428 |
| «Есть признания...» | 429 |
| «Ты ножик вынул не спеша...» | 430 |
| Моя муза | 431 |
| «Все равно ведь...» | 432 |
| Дагестанская ночь | 433 |
| «Саманный дымок завился над трубой...» | 434 |
| «Пусть друзья простят меня за то, что...» | 435 |
| «Спор был бесплодным, безысходным...» | 436 |
| «Я очень счастлива» | 437 |
| «Зернистый наст...» | 438 |
| «Выросла не к месту...» | 439 |
| «Я хотела по росе...» | 440 |
| «Оттепель...» | 441 |
| «Ну конечно, все это было...» | 442 |
| «Я поняла...» | 443 |
| «Нам бы жить-поживать...» | 444 |
| «Не умею требовать верности...» | 445 |
| «Того, наверно, стою...» | 446 |
| Сердце собачье | 447 |
| «Бывало все: и счастье, и печали...» | 448 |
| «Нет, нет, мне незачем бояться...» | 449 |
| «Я бывала в аду...» | 450 |
| Сон | 451 |
| «Воспоминанья милые...» | 452 |
| «Там далеко...» | 453 |

| | |
|---|-----|
| «Ты ее по весне под окошком не сеял...» | 454 |
| «Здесь никто меня не накажет...» | 455 |
| «Лес был темный, северный...» | 456 |
| «Письма я тебе писала...» | 457 |
| «Тебе бы одарить меня...» | 458 |
| Голубка | 459 |
| «Надо верными оставаться...» | 460 |
| «Будет, будет, будет дом...» | 461 |
| «Нынче долго я не засну...» | 462 |
| «О прошедшей жизни скорблю...» | 463 |

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

| | |
|---|-----|
| Про главное | 464 |
| «Я люблю выдумывать страшное...» | 466 |
| Метель | 467 |
| «Я, видно, из графика выбилась где-то...» | 468 |
| «Напрочь путь ко мне отрезан...» | 469 |
| «Думаешь, позабудешь?...» | 470 |
| Двадцать третье апреля... | 471 |
| «Бродит ветер по траве несмятой...» | 472 |
| «Цветущих деревьев белели волны...» | 473 |
| На море | 474 |
| «Поблескивает полотно...» | 475 |
| «Хороша, говоришь, красива?...» | 476 |
| Погода плохая | 477 |
| Лес | 478 |
| Бессонница | 480 |
| Дети | 481 |
| О собаках | 483 |
| «Я жду тебя» | 485 |
| «Зачем судьбу который раз пытаешь?...» | 486 |
| «И вот ты купе закрываешь...» | 487 |
| «Я давно спросить тебя хотела...» | 488 |
| «Нам не позволено любить...» | 489 |
| «Я так хочу, чтобы ладони, губы...» | 490 |
| «Сто раз помочь тебе готова...» | 491 |
| «Я без тебя училась жить...» | 492 |
| «Неразрешимого не разрешить...» | 493 |
| «Боюсь не ссоры, не разлуки...» | 494 |
| «Я мечусь...» | 495 |
| Снова Литве! | 496 |
| «Очень тягостно, очень плохо...» | 497 |

| | |
|--|-----|
| «А я с годами думаю все чаще...» | 498 |
| «Прости, любовь моя ссыльная...» | 499 |
| «Я стою у открытой двери...» | 500 |

П О Э М Ы

| | |
|----------------------------|-----|
| Дорога на Клухор | 503 |
| Поэма памяти | 515 |

Тушнова В. М.

Т81 Избранное / Сост. и научная подгот. текста
Н. Розинской; Вступ. статья А. Туркова.— М.:
Худож. лит., 1988.—543 с.
ISBN 5—280—00195—3

В настоящем издании наиболее полно представлено творчество
Вероники Тушновой (1915—1965).

Книгу составили стихотворения и поэмы (1944—1965), известные читателям по предыдущим сборникам, а также часть неопубликованного наследия поэтессы.

Т 4702010200 — 292
028(01) — 88 74—88

ББК 84Р7

Вероника Михайловна Тушнова

ИЗБРАННОЕ

Редактор *Т. Шезанова*
Художественный редактор *И. Сальникова*
Технический редактор *А. Кашафутдинова*
Корректор *Н. Гришина*

ИБ № 5013

Сдано в набор 03.12.87. Подписано к печати 20.05.88. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл.
печ. л. 28,56 + 1 вкл. = 28,61. Усл. кр.-отт. 28,66. Уч.-изд. л. 19,43 + 1 вкл. =
= 19,46. Тираж 100 000 экз. Изд. № III—2957. Заказ № 1276. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная
литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный
Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

ВЕРОНИКА ТУШНОВА

ИЗБРАННОЕ